

# Антон Иванович Деникин

## Путь русского офицера

*«Подруге дней моих суровых» — жене, помощнице в трудах, согретый ее заботами, связанный единомыслием, оставляю рассказ о начале моего бытия.*

**А. Деникин.**  
**Мимизан (Франция) 16 января 1944 г.**

## Часть первая

### Родители

Родился я 4 декабря 1872 года в городе Влоцлавске Варшавской губ., вернее в пригороде его за Вислой — в деревне Шпеталь Дольный. Занесла нас туда судьба потому, что отец мой служил в Александровской бригаде пограничной стражи, штаб которой находился во Влоцлавске; в этих местах родители мои остались жить после отставки отца.

Как известно, часть Польши, со столицей

Варшавой, входила тогда в состав Российской империи.

Отец, Иван Ефимович Деникин, родился за 5 лет до Наполеоновского нашествия на Россию (1807 г.) в крепостной крестьянской семье, в Саратовской губернии, если память мне не изменяет, в деревне Ореховке. Умер он — когда мне было 13 лет, и прошло с тех пор до времени, когда пишутся эти строки, 60 лет... Поэтому о прошлой жизни отца — по его рассказам — у меня сохранились лишь смутные, отрывочные воспоминания.

В молодости отец крестьянствовал. А 27-ми лет от роду был сдан помещиком в рекруты. В условиях тогдашних сообщений и солдатской жизни (солдаты служили тогда 25 лет и редко кто возвращался домой), меня полки и стоянки, побывав походом и в Венгрии, и в Крыму, и в Польше, отец оторвался совершенно от родного села и семьи. Да и семья-то рано распалась: родители отца умерли еще до поступления его на военную службу, а брат и сестра разбрелись по свету. Где они и живы ли — он не знал. Только однажды, был еще тогда отец солдатом, во время продвижения полка по России, судьба занесла его в тот город, где, как оказалось, жил его брат, как говорил отец — «вышедший в люди раньше меня»... Смутно помню рассказ, как отец,

обрадовавшись, пошел на квартиру к брату, у которого в тот день был званый обед. И как жена брата вынесла ему прибор на кухню, «не пустив в покой»... Отец встал и ушел, не простившись. С той поры никогда с братом не встречались.

Солдатскую службу начал отец в царствование императора Николая I. «Николаевское время» — эпоха беспросветной тяжелой солдатской жизни, суровой дисциплины, жестоких наказаний. 22 года такой службы были жизненным стажем совершенно исключительным. Особенно жуткое впечатление производил на меня рассказ отца о практиковавшемся тогда наказании — «прогнать сквозь строй». Когда солдат, вооруженных ружейными шомполами, выстраивали в две шеренги, лицом друг к другу, и между шеренгами «прогоняли» провинившегося, которому все наносили шомпольные удары... Бывало забивали до смерти!..

Рассказывал отец про эти времена с эпическим спокойствием, без злобы и осуждения, и с обычным рефреном:

— Строго было в наше время, не то что нынче!

На военную службу отец поступил только со знанием грамоты. На службе кой-чему подучился. И после 22-летней лямки, в звании уже фельдфебеля, допущен был к «офицерскому

экзамену», по тогдашнему времени весьма несложному: чтение и письмо, четыре правила арифметики, знание военных уставов и письмоводства и Закон Божий. Экзамен отец выдержал и в 1856 году произведен был в прапорщики, с назначением на службу в Калишскую, потом в Александровскую бригаду пограничной стражи.

В 1863 году началось польское восстание. Отряд, которым командовал отец, был расположен на прусской границе, в районе города Петрокова (уездного). С окрестными польскими помещиками отец был в добрых отношениях, часто бывали друг у друга. Задолго перед восстанием положение в крае стало весьма напряженным. Ползли всевозможные слухи. На кордон поступило сведение, что в одном из имений, с владельцем которого отец был в дружеских отношениях, происходит секретное заседание съезда заговорщиков... Отец взял с собой взвод пограничников и расположил его в укрытии возле господского дома, с кратким приказом:

— Если через полчаса не вернусь, атаковать дом!

Зная расположение комнат, прошел прямо в зал. Увидел там много знакомых. Общее смятение... Кое-кто из не знавших отца бросились было с целью обезоружить его, но другие удержали.

Отец обратился к собравшимся:

— Зачем вы тут — я знаю. Но я солдат, а не доносчик. Вот когда придется драться с вами, тогда уж не взыщите. А только затеяли вы глупое дело. Никогда вам не справиться с русской силой. Погубите только зря много народу. Одумайтесь, пока есть время.

Ушел.

Я привел лишь общий смысл этого обращения, а стилия передать не могу. Вообще отец говорил кратко, образно, по-простонародному, вставляя не раз крепкие словца. Словом, стиль был отнюдь не салонный.

В сохранившемся сухом и кратком перечне военных действий («Указ об отставке») упоминается участие отца в поражении шайки Мирославского в лесах при дер. Крживосондзе, банды Юнга — у деревни Новая Весь, шайки Рачковского — у пограничного поста Пловки и т. д.

Почему-то про Крымскую и Венгерскую кампании отец мало рассказывал — должно быть, принимал в них лишь косвенное участие. Но про польскую кампанию, за которую отец получил чин и орден, он любил рассказывать, а я с напряженным вниманием слушал. Как отец носился с отрядом своим по приграничному району, преследуя повстанческие банды... Как однажды залетел в прусский городок, чуть не вызвав дипломатических

осложнений... Как раз, когда он и солдаты отряда парились в бане, а разъезды донесли о подходе конной банды «косиньеров»,<sup>1</sup> пограничники — кто успев надеть рубахи, кто голым, только накинув шашки и ружья — бросились к коням и пустились в погоню за повстанцами... В ужасе шарахались в сторону случайные встречные при виде необыкновенного зрелища: бешеной скачки голых и черных (от пыли и грязи) не то людей, не то чертей... Как выкуривали из камина запрятавшегося туда мятежного ксендза...

И т. д., и т. д.

Рассказывал отец и про другое: не раз он спасал поляков-повстанцев — зеленую молодежь. Надо сказать, что отец был исполнительным служакой, человеком крутым и горячим и вместе с тем необыкновенно добрым. В плен попадало тогда много молодежи — студентов, гимназистов. Отсылка в высшие инстанции этих пленных, «пойманных с оружием в руках», грозила кому ссылкой, кому и чем-либо похуже. Тем более что ближайшим начальником отца был некий майор Шварц — самовластный и жестокий немец. И потому отец на свой риск и страх, при молчаливом

---

<sup>1</sup> За недостатком оружия, многие отряды были вооружены косами.

одобрении сотни (никто не донес), приказывал, бывало, «всыпать мальчишкам по десятку розог» — больше для формы — и отпускал их на все четыре стороны.

Мне не забыть никогда эпизода, случившегося лет через пятнадцать после восстания. Мне было тогда лет шесть-семь. Отцу пришлось ехать в город Липно зимой в санях — в качестве свидетеля по какому-то судебному делу. Я упросил его взять меня с собой. На одной из промежуточных станций остановились в придорожной корчме. Сидел там за столом какой-то высокий плотный человек в медвежьей шубе. Он долго и пристально поглядывал в нашу сторону и вдруг бросился к отцу и стал его обнимать.

Оказалось, бывший повстанец — один из отцовских «крестников».

Как известно, польское восстание началось 10 января 1863 года и окончилось в декабре полным поражением. Следствием его были конфискация имущества, многочисленные ссылки в Сибирь на поселение и вообще введение в крае более сурового режима.

В 1869 году отец вышел в отставку, с чином майора. А через два года женился вторым браком на Елисавете Федоровне Вржесинской (моя мать). Об умершей первой жене отца в нашей семье почти не говорилось; кажется, брак был неудачный.

Мать моя — полька, происхождением из города Стрельно, прусской оккупации, из семьи обедневших мелких землевладельцев. Судьба занесла ее в пограничный городок Петроков, где она добывала для себя и для старика, своего отца, средства к жизни шитьем. Там и познакомилась с отцом.

Когда происходила русско-турецкая война (1877–1878), отцу шел уже 70-й год. Он, заметно для окружающих, заскучал. Становился все более молчаливым, угрюмым и прямо не находил себе места. Наконец, втайне от жены, подал прошение о поступлении вновь на действительную службу... Об этом мы узнали, когда, много времени спустя, начальник гарнизона прислал бумагу: майору Деникину отправиться в крепость Новогеоргиевск для формирования запасного батальона, с которым ему надлежало отправиться на театр войны.

Слезы и упреки матери:

— Как ты мог, Ефимыч, не сказав ни слова...  
Боже мой, ну, куда тебе, старику...

Плакал и я. Однако в глубине душонки гордился тем, что «папа мой идет на войну».

Но через некоторое время пришло известие: война кончалась, и формирования прекратились.

## **Детство**



Детство мое прошло под знаком большой нужды. Отец получал пенсию в размере 36 рублей в месяц. На эти средства должны были существовать первые семь лет пятеро нас, а после смерти деда — четверо. Нужда загнала нас в деревню, где жить было дешевле и разместиться можно было свободнее. Но к шести годам мне нужно было начинать школьное ученье, и мы переехали во Влоцлавск.

Помню нашу убогую квартирку во дворе на Пекарской улице: две комнаты, темный чуланчик и кухня. Одна комната считалась «парадной» — для приема гостей; она же — столовая, рабочая и проч.; в другой, темной комнате — спальня для нас троих; в чуланчике спал дед, а на кухне — нянька.

Поступив к нам вначале в качестве платной прислуги, нянька моя Аполония, в просторечье Полося, постепенно вращалась в нашу семью, сосредоточила на нас все интересы своей одинокой жизни, свою любовь и преданность, и до смерти своей с нами не расставалась. Я похоронил ее в Житомире, где командовал полком.

Пенсии, конечно, не хватало. Каждый месяц, перед получкой, отцу приходилось «подзаять» у знакомых 5—10 рублей. Ему давали охотно, но для него эти займы были мукой; бывало, дня два собирается, пока пойдет... 1-го числа долг неизменно уплачивался с тем, чтобы к концу

месяца начинать сказку сначала...

Раз в год, но не каждый, спадала на нас манна небесная, в виде пособия — не более 100 или 150 руб. — из прежнего места службы (Корпус пограничной стражи находился в подчинении министра финансов). Тогда у нас бывал настоящий праздник: возвращались долги, покупались кое-какие запасы, «перекрасился» костюм матери, шились обновки мне, покупалось дешевенькое пальто отцу — увы, штатское, что его чрезвычайно тяготило. Но военная форма скоро изнашивалась, а новое обмундирование стоило слишком дорого. Только с военной фуражкой отец никогда не расставался. Да в сундуке лежали еще последний мундир и военные штаны; одевались они лишь в дни великих праздников и особых торжеств и бережно хранились, пересыпанные от моли нюхательным табаком. «На предмет непостыдных кончины, — как говаривал отец, — чтоб хоть в землю лечь солдатом»...

Помещались мы так тесно, что я поневоле был в курсе всех семейных дел. Жили мои родители дружно; мать заботилась об отце моем так же, как и обо мне, работала без устали, напрягая глаза за мелким вышиванием, которое приносило какие-то ничтожные гроши. Вдобавок она страдала периодически тяжелой формой мигрени, с конвульсиями, которая прошла бесследно лишь к

старости.

Случались, конечно, между ними ссоры и размолвки. Преимущественно по двум поводам. В день получки пенсии отец ухитрялся раздавать кое-какие гроши еще более нуждающимся — в долг, но, обыкновенно, без отдачи... Это выводило из терпения мать, оберегавшую свое убогое гнездо. Сыпались упреки:

— Что же это такое, Ефимыч, ведь нам самим есть нечего...

Или еще — солдатская прямота, с которой отец подходил к людям и делам. Возмутится человеческой неправдой и наговорит знакомым такого, что те на время перестают кланяться. Мать — в гневе:

— Ну кому нужна твоя правда? Ведь с людьми приходится жить. Зачем нам наживать врагов?..

Врагов, впрочем, не наживали. Отца любили и мирились с его нравом.

В семейных распрях активной стороной всегда бывала мать. Отец только защищался... молчанием. Молчит до тех пор, пока мать не успокоится и разговор не примет нейтральный характер.

Однажды мать бросила упрек:

— В этом месяце и до половины не дотянем, а твой табак сколько стоит...

В тот же день отец бросил курить. Посерел как-то, осунулся, потерял аппетит и окончательно замолк. К концу недели вид его был настолько жалкий, что мы оба — мать и я — стали просить его со слезами начать снова курить. День упирался, на другой закурил. Все вошло в норму.

Это был единственный случай, когда я вмешался в семейную размолвку. Вообще же никогда я делать этого не смел. Но в глубине детской душонки почти всегда был на стороне отца.

Мать часто жаловалась на свою, на нашу судьбу. Отец — никогда. Поэтому, вероятно, и я воспринимал наше бедное житье как нечто провиденциальное, без всякой горечи и злобы, и не тяготился им. Правда, было иной раз несколько обидно, что мундирчик, выкроенный из старого отцовского сюртука, не слишком наряден... Что карандаши у меня плохие, ломкие, а не «фаберовские», как у других... Что готовальня с чертежными инструментами, купленная на толкучке, не полна и неисправна... Что нет коньков — обзавелся ими только в 4-м классе, после первого гонорара в качестве репетитора... Что прекрасно пахнувшие, дымящиеся «сердельки» (колбаски), стоявшие в училищном коридоре на буфетной стойке во время полуденного перерыва, были недоступны... Что летом нельзя было каждый день купаться в Висле, ибо вход в купальню стоил

целых три копейки, а на открытый берег реки родители не пускали... И мало ли еще что.

Но с купаньем был выход простой: уходил тайно с толпой ребятишек на берег Вислы и полоскался там целыми часами; одним из лучших пловцов стал. Прочее же — ерунда. Выйду в офицеры — будет и мундир шикарный, появятся не только коньки, но и верховая лошадь, а «сердельки» буду есть каждый день...

Но вот душонка моя возмутилась не на шутку, ощутив подсознательно социальную неправду — это когда, благодаря скверной готовальне (только потому, так как чертежник я был хороший), учитель математики поставил мне в четверть неудовлетворительный бал и я скатился вниз по ученическому списку.

И еще один раз... Мальчишкой лет 6—7-ми в затрапезном платишке, босиком я играл с ребятишками на улице, возле дома. Подошел мой приятель, великовозрастный гимназист 7-го класса, Капустянский и, по обыкновению, давай меня подбрасывать, перевертывать, что доставляло мне большое удовольствие. По улице в это время проходил инспектор местного реального училища. Брезгливо скривив губы, он обратился к Капустянскому:

— Как вам не стыдно возиться с уличными мальчишками!

Я свету Божьего не взвидел от горькой обиды. Побежал домой, со слезами рассказал отцу. Отец вспылил, схватил шапку и вышел из дому.

— Ах он, сукин сын! Гувернантки, видите ли, нет у нас. Я ему покажу!

Пошел к инспектору и разделал его такими крепкими словами, что тот не знал — куда деваться, как извиниться.

## **Русско-польские отношения**

Больные русско-польские отношения, вторгавшиеся в нашу жизнь извне, внутри ее не вызывали решительно никаких недоразумений. Отец был кровный русак, мать оставалась полькой, меня воспитывали в русскости и в православии. Собственно, «воспитывали» — в данном случае понятие относительное. В нем предполагается какая-то система, направление. Ничего подобного не было. Я рос — по тесноте нашей — среди больших, много слышал, много видел, что нужно и ненужно было, воспринимал и перемалывал в своем сознании самолично, редко обращаясь к старшим за разъяснением по вопросам из области духовной.

Ни отец, ни мать не отличались лингвистическими способностями. К сожалению, это свойство унаследовал и я. Отец, прослужив в Польше 43 года, относясь к полякам и к языку их

без всякого предубеждения, все понимал, но не говорил вовсе по-польски. Мать впоследствии старалась изучить русский язык, много читала русских авторов, но до конца своей жизни говорила по-русски плохо.

И так, в доме у нас отец говорил всегда по-русски, мать — по-польски, я же — не по чьему-либо внушению, а по собственной интуиции — с отцом — по-русски, с матерью — по-польски. Впоследствии, после выпуска моего в офицеры, когда матери пришлось возвращаться почти исключительно в русской среде, чтобы облегчить ей усвоение русского языка, я и к ней обращался только по-русски. Но польского языка не забыл.

Не было никаких недоразумений и в отношении религиозном. Отец был человеком глубоко верующим, не пропускал церковных служб и меня водил в церковь. С 9-ти лет я стал совсем церковником. С большой охотой прислуживал в алтаре, бил в колокол, пел на клиресе, а впоследствии читал шестопсалмие и апостола.

Иногда ходил с матерью в костел на майские службы — но по собственному желанию. Но если в убогой полковой церковке нашей я чувствовал все свое, родное, близкое, то торжественное богослужение в импозантном костеле воспринимал только как интересное зрелище.

Иногда польско-русская распря доносилась

извне...

В нашем городке под Пасху, в страстную субботу, ксендзы и полковой священник обходили дома для освящения пасхальных столов. К нам приглашались и ксендз и русский священник отец Елисей. Последний знал про этот наш обычай и относился к нему благодушно. Но ксендзы иной раз приходили, иной раз отказывались. Помню, какую горечь такой отказ вызывал у матери и какой гнев — у отца. Впрочем, один из ксендзов объяснил, что принципиальных препятствий он не имеет, но боится репрессий со стороны русской власти...

Однажды — мне было тогда лет девять — мать вернулась из костела чрезвычайно расстроенная, с заплаканными глазами. Отец долго допытывался — в чем дело, мать не хотела говорить. Наконец, сказала: ксендз на исповеди не дал ей разрешения грехов и не допустил к причастию, потребовав, чтобы впредь она воспитывала тайно своего сына в католичестве и в польскости... Мать разрыдалась, отец вспылил и крепко выругался. Пошел к ксендзу. Произошло бурное объяснение, причем под конец перепуганный ксендз упрашивал отца «не губить его»... Власть в Привислянском Крае была в то время (80-е годы) крутая, и «попытка к соращению» могла повлечь ссылку в Сибирь на поселение. Конечно, никакой огласки дело не



получило.

Не знаю, как проходили дальнейшие исповеди матери, ибо никогда более родители мои к этой теме не возвращались.

На меня эпизод этот произвел глубокое впечатление. С этого дня я, по какому-то внутреннему побуждению, больше в костел не ходил.

Надо признаться, что обострению русско-польских отношений много способствовала нелепая, тяжелая и обидная для поляков русификация, проводившаяся Петербургом, в особенности в школьной области. Во Влоцлавском реальном училище, где я учился (1882–1889), дело обстояло так: Закон Божий католический ксендз обязан был преподавать полякам на русском языке; польский язык считался предметом необязательным, экзамена по нему не производилось, и преподавался он также на русском языке. А учителем был немец Кинель, и по-русски-то говоривший с большим акцентом. В стенах училища, в училищной ограде и даже на ученических квартирах строжайше запрещалось говорить по-польски, и виновные в этом подвергались наказаниям. Петербург перетягивал струны. И даже бывший варшавский генерал-губернатор Гурко, герой русско-турецкой войны, пользовавшийся в глазах поляков

репутацией «гонителя польскости», не раз в своих всеподданнейших докладах государю, с которыми я познакомился впоследствии, указывал на ненормальность некоторых мероприятий обрусительного характера.<sup>2</sup>

Нужно ли говорить, что все эти строжайшие запреты оставались мертвой буквой. Ксендз на уроках бросал для виду только несколько русских фраз, ученики никогда не говорили между собой по-русски, и только аккуратный немец Кинель тщетно пытался русскими словами передать красоты польского языка.

Я должен, однако, сказать, что эти перлы русификации бледнеют совершенно, если перелистать несколько страниц истории, перед жестоким и диким прессом колонизации, придавившим впоследствии русские земли, отошедшие к Польше по Рижскому договору (1921). Поляки начали искоренять в них всякие признаки русской культуры и гражданственности, упразднили вовсе русскую школу и особенно ополчились на русскую церковь. Польский язык

---

<sup>2</sup> В 1905 г. вышел указ: преподавание польского языка и Закона Божия должно производиться на польском языке; во внеурочное время разрешено пользоваться «природным языком».

стал официальным в ее делопроизводстве, в преподавании Закона Божия, в церковных проповедях и местами — в богослужении. Мало того, началось закрытие и разрушение православных храмов: Варшавский собор — художественный образец русского зодчества — был взорван; в течение одного месяца в 1937 году было разрушено правительственными агентами 114 православных церквей — с кощунственным поруганием святынь, с насилиями и арестами священников и верных прихожан. Сам примас Польши в день святой Пасхи в архипастырском послании призывал католиков в борьбе с православием «идти следами фанатических безумцев апостольских»...

Отплатили нам поляки, можно сказать, с лихвою! И впереди никакого просвета в русско-польской распре не видать.

Вернемся, однако, к нашему далекому прошлому.

Застав в училище такое положение, я, десятилетний мальчишка, по собственной интуиции нашел *modus vivendi*: с поляками стал говорить по-польски, с русскими товарищами, которых было в каждом классе по три, по четыре, — всегда по-русски. Так как многие из них действительно ополячились, я не раз подтрунивал над ними, поругивал их, а иногда в серьезных случаях и

поколачивал, когда позволяло «соотношение сил». Помню, какое нравственное удовлетворение доставило мне однажды (в 6-м классе), когда мой приятель — серьезный юноша и добрый поляк — после одной такой сценки пожал мне руку и сказал:

— Я тебя уважаю за то, что ты со своими говоришь по-русски.

Кроме поляков и русских, в каждом классе училища были и евреи — не более двух-трех. Хотя почти половина населения города состояла из евреев, которые держали в своих руках всю торговлю, и много среди них было людей состоятельных, но лишь очень немногие отдавали тогда своих детей в училище. Остальные ограничивались «хедером» — специально еврейской, отсталой, талмудистской, средневекового типа школой, которая допускалась властью, но не давала никаких прав по образованию. В нашем реальном училище «еврейского вопроса» не существовало вовсе: сверху евреи не испытывали никаких ограничений, а в ученической среде расценивались только по своим моральным, вернее товарищеским качествам.

В 7-м классе я учился уже вне дома, в Ловичском реальном училище, о чем речь впереди. Был «старшим» на ученической квартире (12 человек). Должность «старшего» предоставляла скидку — половину платы за содержание, что было

весьма приятно; состояла в надзоре за внутренним порядком, что было естественно; но требовала заполнения месячной отчетности, в одной из граф которой значилось: «уличенные в разговоре на польском языке». Это было совсем тягостно, ибо являлось попросту доносом. Рискаю быть смещенным с должности, что на нашем бюджете отразилось бы весьма печально, я всякий раз вносил в графу: «таких случаев не было».

Месяца через три вызывают меня к директору. Директор Левшин знал меня еще по Влоцлавскому училищу, откуда он был переведен в Лович, и любил. За что — не знаю. Должно быть за то, что я порядочно учился и хорошо пел в ученическом церковном хоре — его детище.

— Вы уже третий раз пишете в отчетности, что уличенных в разговоре на польском языке не было...

— Да, господин директор.

— Я знаю, что это неправда.

Молчу.

— Вы не хотите понять, что этой меры требуют русские государственные интересы: мы должны замирить и обрусить этот край. Ну, что же, подрастете и когда-нибудь поймете. Можете идти.

Был ли директор твердо уверен в своей правоте и в целесообразности такого метода «замирения» — не знаю. Но до конца учебного года

в моем отчете появлялась сакраментальная фраза — «таких случаев не было», а с должности меня не сместили.

Так или иначе, в течение 8 лет, проведенных среди поляков в реальном училище, я никогда не испытывал трений на национальной почве. Не раз, когда во время общих наших загородных прогулок кто-либо из товарищей затягивал песни, считавшиеся революционными — «3 дымэм пожарув» или «Боже, цось Польске...», другие останавливали его:

— Брось, нехорошо, ведь с нами идут русские!..

Трения пришли позже... Впоследствии я вышел в офицеры, большинство из моих школьных товарищей-поляков окончили высшие технические заведения. Положение изменилось. Запретов не стало, были мы уже свободными людьми, и я потребовал «равноправия»; при встречах с бывшими товарищами заговорил с ними по-русски, предоставляя им говорить на их родном языке. Одни примирились с этим, другие обиделись, и мы расстались навсегда. Впрочем, встречи происходили лишь в первые годы после выпусков. В дальнейшем судьба разбросала нас по свету, и я никогда больше не встречал своих школьных товарищей.

Один только случай: в 1937 году отозвался

самый близкий мой школьный товарищ, с которым мы жили в одной комнате, крепко дружили, вместе учились и совместно разрешали тогда все «мировые вопросы». Это был Станислав Карпинский, первый директор государственного банка новой Польши, кратковременно занимавший пост министра финансов. К этому времени Карпинский был уже в отставке. Прочтя мои книги и узнав через одно из издательств мой адрес, он прислал мне книжку воспоминаний, и между нами завязалась переписка, длившаяся до самой второй мировой войны. Что случилось с ним, не знаю.

Карпинский, уроженец русской Польши — один из редких поляков, здраво, без предвзятости смотревший на русско-польские отношения, ясно видевший не только русские, но и польские прегрешения и считавший возможным и необходимым примирение.

## **Жизнь городка**

Городишко наш жил тихо и мирно. Никакой общественной жизни, никаких культурных начинаний, даже городской библиотеки не было, а газеты выписывали лишь очень немногие, к которым, в случае надобности, обращались за справками соседи. Никаких развлечений, кроме театра, в котором изредка подвизалась заезжая

труппа. За 10 лет моей более сознательной жизни в Влоцлавске я могу перечислить ВСЕ «важнейшие события», взволновавшие тихую заводь нашего захолустья.

Итак.

«Поймали социалиста»... Под это общее определение влоцлавские жители подводили всех представителей того неведомого и опасного мира, которые за что-то боролись с правительством и попадали в Сибирь, но о котором очень немногие имели ясное представление. В течение нескольких дней «социалиста», в сопровождении двух жандармов, водили на допрос к жандармскому подполковнику. Каждый раз толпа мальчишек сопровождала шествие. И так как подобный случай произошел у нас впервые, то вызвал большой интерес и много пересудов среди обывателей.

В доме богатого купца провалился потолок и сильно придавил его. Много народа — знакомые и незнакомые — ходили навещать больного — не столько из участия, сколько из-за любопытства: посмотреть провалившийся потолок. Конечно, побывал и я.

Директор отделения местного банка, захватив суммы, бежал за границу... Несколько дней подряд возле банковского дома собирались, жестикулировали и ругались люди — вероятно, мелкие вкладчики. И на Пекарской улице, где



находился банк, царило большое оживление. Кажется, не было в городе, человека, который не прошелся бы в эти дни по Пекарской мимо дома с запертыми дверями и наложенными на них казенными печатями.

В нашем реальном училище случилось событие посерьезнее. 7-го класса или «дополнительного», как он назывался на официальном языке, к моему выпуску уже не было, и вот почему... Раньше училище было нормальным семиклассным. По установившейся почему-то традиции, семиклассники у нас пользовались особыми привилегиями: ходили вне школы в штатском платье, посещали рестораны, где выпивали, гуляли по городу после установленного вечернего срока, с учителями усвоили дерзкое обращение и т. д. В конце концов распущенность дошла до такого предела, что директор решил положить ей конец. После какого-то объяснения с великовозрастным семиклассником, последний ударил директора по лицу.

Это событие взволновало, взбудоражило весь город и, конечно, школу. Семиклассник был исключен «с волчьим билетом», т. е. без права приема в какое бы то ни было учебное заведение. Помню, что поступок его вызвал всеобщее осуждение, тем более что директор, которого перевели куда-то в центральную Россию, был

человеком гуманным и справедливым. Осуждали и мы, мальчишки.

Седьмой класс был закрыт, как сказано было в официальной бумаге, «навсегда».

Наконец, еще событие, коснувшееся стороной и меня. Было мне тогда 7 или 8 лет. В городе стало известным, что из-за границы возвращается император Александр II через Александров-пограничный и что царский поезд остановится во Влоцлавске на 10 минут. Для встречи государя, кроме начальства, допущены были несколько жителей города, в том числе и мой отец. Отец решил взять меня с собой. Воспитанный в духе мистического отношения к личности царя, я был вне себя от радости.

В доме — переполох. Мать весь день и ночь шила мне плисовые штаны и шелковую рубашку; отец приводил в порядок военный костюм и натирал до блеска — через особую дощечку с вырезами — пуговицы мундира.

На вокзале я заметил, что, кроме меня, других детей нет, и это наполнило меня еще большей гордостью.

Когда подъехал царский поезд, государь подошел к открытому окну вагона и приветливо беседовал с кем-то из встречавших. Отец застыл с поднятой к козырьку рукой, не обращая на меня внимания. Я не отрывал глаз от государя.

После отхода поезда один наш знакомый полушутя обратился к отцу:

— Что это, Иван Ефимович, сынишка ваш непочтителен к государю. Так шапки и не снимал...

Отец смутился и покраснел. А я словно с неба на землю и свалился. Почувствовал себя таким несчастным, как никогда. Теперь уже и перед мальчишками нельзя будет похвастаться встречей царя: узнают про мою оплошность — засмеют...

Прошло некоторое время, и вся Россия была потрясена событием: 1 марта 1881 года убит был император Александр II...

В нашем городке — в переполненной молящимися православной церкви, в русских семьях, в нашем доме люди плакали. Как отнеслось к событию польское население, я тогда оценить не мог. Помню только, что в течение нескольких дней город был погружен в жуткую тишину и пустоту. По распоряжению растерявшегося местного начальства, в полуопустевшем городе ездили конные уланские патрули, и лязг конских копыт, в особенности ночью, усиливал тревожное настроение, которое можно передать словами польского поэта:

Тихо вшендзе, глухо  
вшендзе.

Цо то бэндзе, цо то

## Школа

Учить меня стали рано. Когда мне исполнилось четыре года, к именинам отца мать подготовила ему подарок: втихомолку выучила меня русской грамоте. Я был торжественно подведен к отцу, развернул книжку и стал ему читать.

— Врешь, брат, ты это наизусть. А ну-ка прочти вот здесь.

Прочел. Радость была большая. Словно два именинника в доме.

Когда переехали из деревни в город, отдали меня в «немецкую» городскую школу. В немецкую потому, что помещалась она насупротив нашего дома, а до нормальной было далеко. Впрочем, немецкой называлась она только ввиду того, что сверх обыкновенной программы там преподавался немецкий язык. Между прочим, начальной школы с польским языком не было...

Помянуть нечем. Вот только разве «чудо» одно... Оставил меня раз учитель за какую-то

---

<sup>3</sup> Тихо всюду, глухо всюду. Что то будет, что то будет...

провинность после уроков на час в классе. Очень неприятно: дома будут пилить полчаса, что гораздо хуже всякого наказания. Стал я перед училищной, иконой на колени и давай молиться Богу:

— Боженька, дай, чтобы меня отпустили домой!..

Только что я встал, открывается дверь, входит учитель и говорит:

— Деникин Антон, можешь идти домой.

Я был потрясен тогда. Этот эпизод укрепил мое детское верование. Но... да простится мой скепсис — теперь я думаю, что учитель случайно подглядел в окно (одноэтажное здание), увидел картину кающегося грешника и оттого смиловался. Ибо не раз потом, когда я вновь впадал в греховность и мне грозило дома наказание, я молил Бога:

— Господи, дай, чтобы меня лучше посекали — только не очень больно — но не пилили!

Однако, почти никогда моя молитва не была услышана: не секли, а пилили.

Два следующих года я учился в начальной школе, а в 1882 году, в возрасте 9 лет и 8 месяцев, выдержал экзамен в 1-й класс Влоцлавского реального училища.

Дома — большая радость. Я чувствовал себя героем дня. Надел форменную фуражку с таким приблизительно чувством, как впоследствии первые

офицерские погоны. Был поведен родителями в первый раз в жизни в кондитерскую и угощен шоколадом и пирожными.

Учился я первое время отлично. Но, будучи во втором классе, заболел оспой, потом скарлатиной со всякими осложнениями. Лежал в жару и в бреду. Лечивший меня старичок, бригадный врач, зашел раз, посмотрел, перекрестил меня и, ни слова не сказав родителям, вышел. Родители — в отчаянии. Бросились к городскому врачу. Тот вскоре поднял меня на ноги.

Несколько месяцев учения было пропущено, от товарищей отстал. Особенно по математике, которая считалась главным предметом в реальном училище. С грехом пополам перевалил через 3 и 4 классы, а в 5-м застрял окончательно: в среднем за год получил по каждому из трех основных математических предметов по  $2\frac{1}{2}$  (по пятибалльной системе). Обыкновенно педагогический совет прибавлял в таких случаях половинку, директор Левшин настаивал на прибавке, но учитель математики Епифанов категорически воспротивился:

— Для его же пользы.

Я не был допущен к переводному экзамену и оставлен в 5-м классе на второй год.

Большой удар по моему самолюбию. Не знал — куда деваться от стыда. Мать, видя мои мучения,

сочинила для знакомых басню о том, что я оставлен в классе «по молодости лет». Знакомые сочувственно кивали головой, но, конечно, никто не верил.

То лето я провел в качестве репетитора в деревне. Работы с моими учениками было немного, и все свободное время я посвятил изучению математики. Имел терпение проштудировать три учебника (алгебры, геометрии и тригонометрии) от доски до доски и даже перерешил почти все помещенные в них задачи. Труд колоссальный.

Вначале дело шло туговато, но, мало-помалу, «математическое сознание» прояснялось, я начинал входить во вкус дела; удачное решение какой-нибудь трудной задачи доставляло мне истинную радость. Словом, к концу лета я с юношеским задором сказал себе:

— Ну, Епифаша, теперь поборемся!

Учитель Епифанов был влюблен в свою математику и всех не знающих ее считал дураками. В классе он находил всегда двух-трех учеников, особенно способных к математике, с ними он занимался особо, становясь совсем на товарищескую ногу. Класс дал им прозвание «пифагоров». «Пифагоры» были на привилегированном положении: получали круглую пятерку в четверть, никогда не «вызывались к доске» и иногда только, когда Епифанов

чувствовал, что класс плохо понимает его объяснения, приглашал кого-нибудь из «пифагоров» повторить. Выходило иногда понятнее, чем у него... Во время заданной классной задачи «пифагоры» усаживались отдельно, и Епифанов предлагал им задачу много труднее или делился с ними новинками из последнего «Математического Журнала».

Класс относился к «пифагорам» с признанием и не раз пользовался их помощью.

Первая классная задача после каникул — совершенно пустяковая... Решаю в 10 минут и подаю. Прислушиваюсь, что говорится за пифагоровской скамьей:

— В прошлом номере «Математического Журнала» предложена была задача: «определить среднее арифметическое всех хорд круга». А в последнем номере значит, что решения не прислано. Не хотите ли попробовать...

«Пифагоры» взялись за решение, но не осилили. Я тоже заинтересовался задачей. Мысль заработала... Неужели?! Красный от волнения, слегка дрожавшими руками я подал лист Епифанову.

— Кажется, я решил...<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ответ: среднее арифметическое всех хорд круга =  $\pi r/2$



Епифанов прочел, ни слова не сказав, прошел к кафедре, развернул журнал и поставил так ясно, что весь класс заметил, пятерку.

С этого дня я стал «Пифагором» со всеми вытекавшими из сего последствиями — почета и привилегий.

Я остановился на этом маловажном, со стороны глядя, эпизоде, потому что он имел большое значение в моей жизни, после трех лет лавирования между двойкой и четверкой, после постоянных укоров родителей, вынужденных и вымученных объяснений и уколов самолюбия дома и в школе — в моем характере проявилась какая-то неуверенность в себе, приниженность, какое-то чувство своей «второсортности»... С этого же памятного дня я вырос в собственных глазах, почувствовал веру в себя, в свои силы и тверже и увереннее зашагал по ухабам нашей маленькой жизни.

В 5-м классе, благодаря высоким баллам по математике, я занял третье место, а в 6-м весь год шел первым.

После окончания 6-ти классов во Влоцлавске мне предстояло перейти в одно из ближайших реальных училищ — Варшавское с «общим отделением дополнительного класса» или в Ловичское — с «механико-техническим отделением». Я избрал последнее. Репутация

«пифагора», занесенная перемещенным туда директором Левшиным, помогла мне с первых же дней занять в новом «чужом» училище надлежащее место, и я окончил его с семью пятерками по математическим предметам.

Прочие науки проходил довольно хорошо, а иностранные языки неважно. По русскому языку, конечно, стоял выше других. И если в аттестате, выданном Влоцлавским училищем, значится только четверка, то потому, что инспектор Мазюкевич никому пятерки не ставил. А может быть, причина была другая... Как-то раз, еще в четвертом классе, Мазюкевич задал нам классное сочинение на слова поэта:

Куда как упорен в  
труде человек,  
Чего он не сможет,  
лишь было б терпенье,  
Да разум, да воля, да  
Божье хотенье.

— Под последней фразой, — объяснил нам инспектор, — поэт разумел удачу.

А я свое сочинение закончил словами: «...И, конечно, Божье хотенье. Не «удача», как судят иные, а именно «Божье хотенье». Недаром мудрая русская пословица учит: «Без Бога — ни до

порога»...

За такую мою продерзость «иные» поставили мне тогда тройку, и с тех пор до самого выпуска, несмотря на все старание, выше четверки я не подымался.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Выписка из моих аттестатов об окончании 6 и 7-го классов:

6 класс

Закон Божий 5

Русский язык 4

Немецкий язык 3

Французский язык 3

География 4

История 4

Рисование 4

Черчение 4

Арифметика 4

Алгебра 5

Геометрия 5

Тригонометрия 4

Начерт. геометрия 5

Естественная история 3

Физика 4

Химия 3

Механика 5

7 класс

Закон Божий 5

Арифметика 5

Геометрия 5

Тригонометрия 5

Алгебра 5

С 4-го класса начались мои «литературные упражнения»: наловчился писать для товарищей-поляков домашние сочинения пачками — по три-четыре на одну и ту же тему и к одному сроку. Очень трудное дело. Писал я, по-видимому, не плохо. По крайней мере Мазюкович обратился раз к товарищу моему, воспользовавшемуся моей работой, со словами:

— Сознайтесь — это не вы писали. Должно быть, заказали сочинение знакомому варшавскому студенту...

Такое заявление было весьма лестно для «анонимного» автора и подымало мой школьный престиж.

Работал я даром, иногда, впрочем, «в

---

Прилож. алг. к геом. 5  
Начерт. геометрия 5  
Физика 4  
Химия 3  
Механика 5  
Естественная история 4  
Чертежи машин 3  
Моделирование 4  
Землемерие 3  
Строит. искусство 3  
Счетоводство 4  
Технология 4  
Гимнастика 5

товарообмен»: за право пользоваться хорошей готовальной или за одолженную на время электрическую машинку — предел моих мечтаний.

В 13–14 лет писал стихи — чрезвычайно пессимистического характера, вроде:

Зачем мне жить дано  
Без крова, без  
привета.  
Нет, лучше умереть  
—  
Ведь песня моя  
спета.

Посылал стихи в журнал «Ниву» и лихорадочно томился в ожидании ответа. Так, злодеи, и не ответили. Но в 15 лет одумался: не только писать, но и читать стихи бросил — «Ерунда!» Прелесть Пушкина, Лермонтова и других поэтов оценил позднее. А тогда сразу же после Густава Эмара и Жюля Верна преждевременно перешел на «Анну Каренину» Льва Толстого — литература, бывшая строго запретной в нашем возрасте.

В 16–17 лет (6–7 классы) наша компания была уже достаточно «сознательной». Читали и обсуждали вкривь и вкось, без последовательности и руководства, социальные проблемы; разбирали

по-своему литературные произведения, интересовались четвертым измерением и новейшими изобретениями техники. Только политическими вопросами занимались мало. Быть может, потому, что в умах и душах моих, товарищей-поляков доминировала и все подавляла одна идея — «Еще Польша не сгинэла»... А со мной на подобные темы разговаривать было неудобно.

Но больше всего, страстнее всего занимал нас вопрос религиозный — не вероисповедный, а именно религиозный — о бытии Бога. Бессонные ночи, подлинные душевные муки, страстные споры, чтение Библии наряду с Ренаном и другой «безбожной» литературой... Обращаться за разрешением своих сомнений к училищным законоучителям было бесполезно. Наш старый священник, отец Елисей, сам, наверно, не тверд был в Богопознании; ловичский законоучитель, когда к нему решился обратиться раз мой товарищ-семиклассник Дубровский, вместо ответа поставил ему двойку в четверть и обещал срезать на выпускном экзамене; а к своему ксендзу поляки обращаться и не рисковали — боялись, что донесет училищному начальству. По крайней мере, списки уклонившихся от исповеди представлял неукоснительно. По этому поводу вызывались к директору родители уклонившихся для крайне

неприятных объяснений, а виновникам сбавлялся балл за поведение...

Много лет спустя, когда я учился в Академии Генерального Штаба, на одной из своих лекций профессор психологии А. И. Введенский рассказывал нам:

— Бытие Божие воспринимается, но не доказывается. Когда-то на первом курсе университета слушал я лекции по Богословию. Однажды профессор Богословия в течение целого часа доказывал нам бытие Божие: «во-первых... во-вторых... в-третьих»... Когда вышли мы с товарищем одним из аудитории — человек он был верующий, — говорит он мне с грустью:

— Нет, брат, видимо, Божье дело — табак, если к таким доказательствам прибегать приходится...

Вспомнил я этот рассказ Введенского вот почему. Мой друг — поляк, шестиклассник, вопреки правилам пошел на исповедь не к училищному, а к другому молодому ксендзу. Повинился в своей маловерии. Ксендз выслушал и сказал:

— Прошу тебя, сын мой, исполнить одну мою просьбу, которая тебя ничем не стеснит и ни к чему не обяжет.

— Слушаю.

— В минуты сомнений твори молитву: «Боже,

если Ты есть, помоги мне познать Тебя»...

Товарищ мой ушел из исповедадьни глубоко взволнованный.

Я лично прошел все стадии колебаний и сомнений и в одну ночь (в 7-м классе), буквально в одну ночь пришел к окончательному и бесповоротному решению:

— Человек — существо трех измерений — не в силах осознать высшие законы бытия и творения. Отметаю звериную психологию Ветхого Завета, но всецело приемлю христианство и православие.

Словно гора свалилась с плеч!

С этим жил, с этим и кончаю лета живота своего.

## Преподаватели

Кто были нашими воспитателями в школе?

Перебирая в памяти ученические годы, я хочу найти положительные типы среди учительского персонала моего времени и не могу.<sup>6</sup> Это были люди добрые или злые, знающие или незнающие, честные или корыстные, справедливые или пристрастные, но почти все — только чиновники. Отзвонить свои часы, рассказать своими словами по

---

<sup>6</sup> Один Епифанов; о нем — дальше.



учебнику, задать «отсюда досюда» — и все. До наших душонок им не было никакого дела. И росли мы сами по себе, вне всякого школьного влияния. Кого воспитывала семья, а кого — и таких было не мало — исключительно своя же школьная среда, у которой были свои неписанные законы морали, товарищества и отношения к старшим — несколько расходившиеся с официальными, но, право же, не всегда плохие.

Зато типов и фактов анекдотических не перечить.

Вот учитель немецкого языка, невозможно коверкавший русскую речь. Ни мы его не понимали, ни он нас. На протяжении нескольких часов он поучал нас, что величайший поэт мира есть Клопшток. Так надоел со своим Клопштоком, что слово это стало у нас ругательной кличкой.

Сменивший его другой учитель К. был взяточником. Обращался, бывало, к намеченному ученику:

— Вы не успеваете в предмете. Вам необходимо брать у меня частные уроки.

Условия известны: срок — месяц; плата — 25 рублей; время занятий — два-три раза в неделю по полчаса. Хороший балл в году и на экзамене обеспечен. Дешево!

С таким же предложением К. обратился как-то и ко мне. Я ответил:

— Платить нам за уроки нечем. А на тройку я знаю достаточно.

Казалось бы, в крае, подвергавшемся русификации, преподавание русской литературы не только с воспитательной, но хотя бы с пропагандной целью должно было быть поставлено образцово. Между тем наши учителя облекали свой предмет в такую скуку, в такую казенщину, что могли бы отбить не только у поляков, но и у нас, русских, всякую охоту к чтению, если бы не природное влечение к живому слову, если бы не внедренная в нас жажда к самообразованию.

В Ловиче прикладную математику (4 предмета) преподавал В. — человек больной — полупаралитик. Не то по природе, не то от болезни — злой и раздражительный. Приходил в училище редко, никогда не объяснял уроков, а только задавал и спрашивал. При этом без стеснения сыпал единицы и двойки. Наши тетрадки с домашними работами возвращались от него без каких-либо поправок, очевидно не проверенные, и только скрепленные подписью... с росчерком его жены. Начальство знало все это, но закрывало глаза — учителю не хватало двух или трех лет до полной пенсии.

Класс наш, наконец, возмутился. Решено было заявить протест, что возложено было на меня. Я, как «пифагор», подвергался меньшему риску от

учительского гнева.

Когда В. вошел в класс, я обратился к нему:

— Сегодня мы отвечать не можем. Никто нам не объяснил, и мы не понимаем заданного.

В. накричал, обозвал нас дураками за то, что мы «не понимаем простых вещей», не объяснил, а стал спрашивать. Но отметок в этот день все же не поставил.

Отец одного из моих товарищей, несправедливо недопущенного к экзаменам, Нарбут, подал жалобу попечителю Варшавского учебного округа, нарисовав всю картину оригинального преподавания В. Жалоба была оставлена без последствий, но В. был отстранен от производства выпускных экзаменов, и из Варшавы был прислан для этой цели один из профессоров Варшавского университета. Но так как, паче чаяния, экзамены сошли благополучно, то В. оставили... дослуживать пенсию.

Порядок письменных экзаменов при выпуске был таков: учителя всего округа посылали секретным порядком попечителю проекты экзаменационных тем (или задач) по своим предметам; попечитель избирал основную тему и запасную — для всех училищ одинаковую — и пересылал их на места в запечатанных конвертах, которые вскрывались в час экзамена. Экзаменационные работы посылались потом в

округ, где, на основании их, начальство судило об успешности преподавания. Случилось так, что два года подряд выпускные работы по «приложению алгебры к геометрии» оказывались неудовлетворительными и вызывали выговоры учителю чистой математики Г. Поэтому Г. сказал одному из моих товарищей, с семьей которого он был в дружеских отношениях:

— Хотя это государственное преступление, но я дам тебе для класса проект моего задания. Под одним только условием — чтобы об этом не знал Я-ский. Я ему не доверяю.

Должен признаться, что, согласно неписаному кодексу школьной морали, эта неожиданная «помощь» была воспринята нами вовсе не как «преступление», а как средство самозащиты. Тем более что оказана она была не «любимчикам», а всему классу. Совершенно так же школьная мораль расценивала «списывание» и подсказывание, шпаргалки и всякий другой обман учителей, если только он не шел вразрез с интересами других товарищей.

Я-ского, который жил на одной квартире со мной, обойти было, конечно, невозможно, ибо был он порядочный человек и хороший товарищ. Г. ошибался в нем. По поручению класса, мне пришлось долго повозиться с ним, чтобы, не объясняя мотивов, заставить его заняться решением

этой задачи.

Но тут возник другой вопрос: имеем ли мы нравственное право воспользоваться такой льготой, если варшавские семиклассники ею не воспользуются и многие могут «срезаться»... Класс решил, что это было бы нечестно. Снарядили в Варшаву тайно посланца, который повидался там со своими друзьями — тамошними семиклассниками, взял с них ганнибалову клятву о сохранении тайны, передал им задание и благополучно вернулся.

Настал день экзамена. Нас рассадили за отдельные столики, комиссия вскрыла конверт, и учитель написал на доске текст задания.

Увы! Задача другая и притом, на первый взгляд, очень трудная...

Читаю условие... Что за чепуха! Нет никакого смысла. Перечитываю еще раз — конечно, чепуха. Переглядываюсь с «пифагорами». Те глазами и жестами высказывают свое недоумение. Встал, подал свой штампованный лист пустым:

— Задание составлено неверно.

За мной — другие. Члены комиссии давно уже недоуменно беседовали между собою шепотом. Пошли на совещание с директором... Оказалось впоследствии, что чиновник окружной канцелярии при переписке задания пропустил одну строчку, благодаря чему оно потеряло смысл...

Скоро комиссия вернулась, вскрыла запасной конверт.

Ура! Задание Г.

Нечего говорить, что и у нас, и в Варшаве экзамен по «приложению алгебры к геометрии» прошел блестяще, а Г. получил благодарность от окружного начальства.

Веселыми были экзамены по Закону Божию. Знали мы предмет неважно. Законоучитель-ксендз, для сохранения лица, расписывал, бывало, программу заранее между выпускными; каждый подготовлял один — свой билет и отвечал именно по этому билету, а не по тому, который вытаскивал на экзамене. Трудно было начать, и потому изощрялись по-разному:

— Прежде чем перейти к событиям... (тема законного билета), необходимо бросить взгляд на... (тема билета незаконного)...

Председатель комиссии инспектор слушал невнимательно, и все сходило с рук.

Призывает нас, четырех выпускных-православных, отец Елисей и говорит:

— Наслышан я, что ксендз на экзамене плутует. Нельзя и нам, православным, ударить в грязь лицом перед римскими католиками. Билет — билетом, а спрашивать я буду вот что...

Указал каждому тему.

— А потом, будто невзначай, задам еще по

вопросу. Вас спрошу: «Не знаете ли, какой двенадесятый праздник предстоит в ближайшее время?» Вы ответите и объясните значение праздника. А вас спрошу: «Не знаете ли — какого святого память чтит сегодня святая церковь?» Вы ответите... «А чем примечательна его кончина?» Вы ответите: «Распилен был мучителями деревянной пилой». А вас я спрошу...

Мне достался двенадесятый праздник, и потому все сошло правдоподобно. Но товарищ мой бедный, которому досталось сказание про деревянную пилу, под пронизывающим, насмешливым взглядом инспектора, понявшего инсценировку, краснел, пыхтел и так и не закончил жития.

Но довольно.

Исключение представлял учитель чистой математики, Александр Зиновьевич Епифанов. Москвич, старообрядец, народник, немного толстовец — он приехал в наш городишко тотчас по окончании Московского Технического училища, с молодою женой, и сразу привлек к себе внимание всех обитателей. Прислуги они не держали. И когда соседи увидели, что «пани-профэссорова»<sup>7</sup> сама

---

<sup>7</sup> У поляков была склонность повышать людей в ранге: маленький писец — радца (советник), учитель — профессор, гимназист — студэнт, студент — акадэмик. А лицо вовсе без

стирает белье и развешивает его на дворе, а «пан-профэссор» выносит ведра во двор в помойную яму (водопровода и канализации в то время не было), то удивлению и осуждению не было границ. А когда рабочие привезли «пану-профэссорови» мебель, и он, после установки, усадил их вместе с собой и женой обедать, об этом говорил весь город, толкуя событие на все лады. Одни решили — «тронутый», другие, качая головой, произносили мало понятное слово — «социалист». А жена жандармского подполковника по секрету передавала моей матери, что над Епифановым установлен негласный надзор...

Епифанов никакой  
«противоправительственной деятельностью» не занимался и, конечно, никакой «политики» не касался в беседах со своими питомцами. А влиянием на них пользовался большим. В качестве классного наставника, он вникал в нашу жизнь, старался найти причины проступков и неуспешности, помогал советами, защищал от неумеренного гнева инспекторского и умел наказывать и прощать так, что все мы чувствовали справедливость его решений.

---

определенной профессии — пан мэцэнас (меценат).



Однажды мы — человека четыре — зашли к нему на дом за какими-то разъяснениями. Принял радушно, угостил чаем, пригласил заходить вечерами, «когда появятся волнующие вопросы». Заходили не раз. Не морализируя, не навязывая своих мнений, на темы литературные и просто житейские, в свободных спорах, что нам особенно льстило, он незаметно внушал нам понятие о добре, правде, о долге, об отношениях к людям.

Много добрых семян заложил в молодые души Александр Зиновьевич Епифанов.

Однажды вечером помощник классных наставников, проверяя ученические квартиры, не застал меня и других дома и узнал, что мы находимся у Епифанова. Училищное начальство тотчас же приказало прекратить эти посещения.

Во Влоцлавске Епифанов не ужился. Перевели, помимо желания, в Лович. В Ловиче также не пришелся ко двору. После бурного протеста против поощрявшегося начальством «доносительства», был переведен на низший оклад в Замостье, где находилась тогда не то прогимназия, не то ремесленное училище.

Дальнейшая судьба его мне неизвестна.

Меня отец не «поучал», не «наставлял». Не в его характере это было. Но все то, что отец рассказывал про себя и про людей, обнаруживало в нем такую душевную ясность, такую

прямолинейную честность, такой яркий протест против всякой человеческой неправды и такое стоическое отношение ко всяким жизненным невзгодам, что все эти разговоры глубоко западали в мою душу.

Невзирая на возраст, был он здоров и крепок. Помню, шли мы с ним как-то по городу и встретили подростка лет пятнадцати, который стоял над тяжелым мешком с мукой и плакал. Снял мешок с плеч, чтобы отдохнуть, а взвалить обратно не мог. Отец поднял мешок, вымазавшись в муке, и тут же схватил... солидную грыжу. Это была первая в жизни болезнь или повреждение, если не считать раны в руку, нанесенной польским косиньером в рукопашной схватке и оставившей довольно глубокий след. Рану отец считал не серьезной и в формуляр не заносил.

Только последние годы жизни отец стал страдать болями в желудке. Лечиться не на что было, да и не привык он обращаться к врачам. Пользовался несколько лет подряд каким-то народным средством. К весне 1885 года отец не вставал уже с постели; сильные боли и непрестанная икота; приглашенный врач определил — рак в желудке.

Мать не отходила от постели больного, меня на ночь выдворяли в соседнюю комнату.

Стал отец часто и спокойно говорить о своей

близкой смерти, что наполняло мое сердце жгучей болью. Осталось в памяти его последнее напутствие:

— Скоро я умру. Оставляю тебя, милый, и мать твою в нужде. Но ты не печалься — Бог не оставит вас. Будь только честным человеком и береги мать, а все остальное само придет. Пожил я довольно. За все благодарю Творца. Только вот жалко, что не дождался твоих офицерских погон...

Шли дни великого поста. Отец часто молился вслух:

— Господи, пошли умереть вместе с Тобою...

В страстную пятницу я был в церкви на выносе плащаницы и пел, по обыкновению, на клиросе. Подходит ко мне знакомый мальчик и говорит:

— Иди домой, тебя мать требует.

Прибежал домой — отец уже мертв.

Исполнилось желание его — умереть в страстную пятницу. Самовнушение или милость Божия?

На третий день Пасхи отца похоронили. Хор музыкантов 1-го Стрелкового батальона играл похоронный марш; сотня пограничников проводила гроб в могилу тремя ружейными залпами; могилу засыпали землей, и мы с матерью — жалкие и несчастные в тот день, как никогда — вернулись в свой осиротевший дом.

Для могильной плиты приятель отца, ротмистр Ракицкий, составил надпись:

**«В простоте души своей он боялся Бога, любил людей и не помнил зла».**

\* \* \*

Со смертью отца материальное положение наше оказалось катастрофическим. Мать стала получать пенсию всего 20 руб. в месяц. Пришлось мне, хотя я и сам был тогда еще юн и не тверд в науках, репетировать двух второклассников. За два урока получал 12 руб. в месяц. Никакого влечения к педагогической деятельности я не имел, и тяготили меня эти занятия ужасно. В особенности зимой, когда рано темнело. Вернувшись из училища часа в 4 и наскоро пообедав, бежал на один урок, потом — в противоположный конец города на другой. А тут уж и ночь, да свои уроки готовить надо... Никакого досуга ни для детских игр, ни для Густава Эмара. Праздника ждал, как манны небесной.

Года два еще кое-как перебивались, наконец стало невмоготу. На «семейном совете» (мать, нянька и я) решили попытаться получить разрешение на держание ученической квартиры. Пошли с матерью к директору Левшину. Тот дал разрешение на квартиру для 8 учеников. Нормальная плата была 20 руб. с человека. Так как

к тому времени повысилась сильно моя школьная репутация («пифагор»), то меня же директор назначил «старшим» по квартире.

С тех пор, если и не было у нас достатка, то кончилась та беспросветная нужда, которая висела над нами в течение стольких лет.

К этому же времени относится и резкое изменение нашего «семейного статута». Школьные успехи, некоторая серьезность характера, вызванная впечатлением от кончины отца и его предсмертного наказа — «береги мать»... и участие в добывании средств на хлеб насущный — с одной стороны. С другой — одиночество моей бедной матери, инстинктивно искавшей хоть какой-нибудь опоры, даже такой ничтожной, какую мог дать 15-летний сын... Все это незаметно создало мне положение равноправного члена семьи. Меня никогда больше не наказывали и не пилили. Мать делилась со мной своими переживаниями, иногда советовалась по вопросам нашего несложного домашнего быта.

Со времени производства моего в офицеры мать жила при мне до самой своей смерти последовавшей в Киеве, в 1916 году, когда я был на войне и командовал уже корпусом.

## **Выбор карьеры**

В первый год моей жизни, в день какого-то семейного праздника, по старому поверью, родители мои устроили гадание: разложили на подносе крест, детскую саблю, рюмку и книжку. К чему первому дотронусь, то и предопределит мою судьбу. Принесли меня. Я тотчас же потянулся к сабле, потом поиграл рюмкой, а до прочего ни за что не захотел дотронуться.

Рассказывая мне впоследствии об этой сценке, отец смеялся:

— Ну, думаю, дело плохо: будет мой сын рубакой и пьяницей!

Гаданье и сбылось, и не сбылось. «Сабля», действительно, предредила мою жизненную дорогу, но и от книжной премудрости я не отрекся. А пьяницей не стал, хотя спиртного вовсе не чуждаюсь. Был пьян раз в жизни — в день производства в офицеры.

Рассказы отца, детские игры (сабли, ружья, «война») — все это настраивало на определенный лад. Мальчишкой я по целым часам пропадал в гимнастическом городке 1-го Стрелкового батальона, ездил на водопой и купанье лошадей с Литовскими уланами, стрелял дробинками в тире пограничников. Ходил версты за три на стрельбище стрелковых рот, пробирался со счетчиками пробойн в укрытие перед мишенями. Пули свистели над головами — немножко страшно, но занятно очень,

придавало вес в глазах мальчишек и вызывало их зависть... На обратном пути вместе со стрелками подтягивал солдатскую песню:

Греми слава трубой  
За Дунаем, за рекой.

Словом, прижился к местной военной среде, приобретаю знакомых среди офицерства и еще более приятелей среди солдат.

У солдат покупал иной раз боевые патроны — за случайно перепавший пятак или за деньги, вырученные от продажи старых тетрадок; сам разряжал патроны, а порох употреблял на стрельбу из старинного отцовского пистолета или закладывал и взрывал фугасы.

Будущая офицерская жизнь представлялась мне тогда в ореоле сплошного веселья и лихости. В нашем доме жили два корнета 5 Уланского полка. Я видал их не раз лихо скакавшими на ученье, а в квартире их всегда дым стоял коромыслом. Через открытые окна доносились веселые крики и пение. Особенно меня восхищало и... пугало, когда один из корнетов, сидя на подоконнике и спустив ноги за окно, с бокалом вина в руке, бурно приветствовал кого-либо из знакомых, проходивших по улице. «Ведь третий этаж, вдруг упадет и разобьется!..»

Через 25 лет во время японской войны мы

вспоминали мое детское увлечение: бывший корнет, теперь генерал Ренненкампф — прославленный начальник Восточного отряда Маньчжурской армии, и я — его начальник штаба...

По мере перехода в высшие классы, свободного времени становилось меньше, появились другие интересы, и «воинские упражнения» мои почти прекратились. Не бросил только гимнастики и преуспевал в «военном строе», который был введен в училищную программу в 1889 году.

Во всяком случае, когда я окончил реальное училище, хотя высокие баллы по математическим предметам сулили легкую возможность прохождения любого высшего технического заведения, об этом и речи не было.

Я избрал военную карьеру.

## **В военном училище**

В конце 80-х годов для комплектования русской армии офицерами существовали училища двух типов:

Военные училища, имевшие однородный состав по воспитанию и образованию, так как комплектовались они юношами, окончившими кадетские корпуса (средние учебные заведения с



военным режимом). И юнкерские училища, предназначенные для молодых людей «со стороны» — всех категорий и всех сословий. Огромное большинство поступавших в них не имело законченного среднего образования, что придавало училищам этим характер второсортности. Военные училища выпускали своих питомцев во все роды оружия офицерами, а юнкерские — только в пехоту и кавалерию в звании среднем между офицерским и сержантским, и только впоследствии они производились в офицеры.

В 80-х годах соотношение выпускаемых из военных и юнкерских училищ было 26 % и 74 %. Путем постепенных реформ перед Первой мировой войной, в 1911 году все училища стали «военными», и русский офицерский состав по своей квалификации не уступал германскому и был выше французского.

В 1888 году создано было училище третьего типа, под названием «Московское юнкерское училище с военно-училищным курсом». Программа и права были те же, что и в военных училищах, и принимались туда вольноопределяющиеся (солдаты) с законченным высшим или средним образованием гражданских учебных заведений. Потребность в нем так назрела, что стены его не могли вместить желающих. Поэтому такие же курсы были открыты при Киевском юнкерском

училище, куда я и поступил осенью 1890 года, предварительно записавшись в 1-й Стрелковый полк, квартировавший в Плоцке.

Собралось нас там 90 человек. Для классных занятий мы были распределены по трем отделениям с особым составом преподавателей, а во всех прочих отношениях — размещения, довольствия, обмундирования и строевого обучения — нас слили с юнкерами «юнкерского курса». Большие преимущества наши по правам выпуска вызывали в них невольное ревнивое чувство.

Училище наше помещалось в старинном крепостном здании со сводчатыми стенами-нишами, с окнами, обращенными на улицу, и с пушечными амбразурами, глядевшими в поле, к реке Днепру. Началась новая жизнь, замкнутая в четырех стенах, за которыми был запретный мир, доступный только в отпускные дни. Строгое и точное, по часам и минутам, расписание повседневного обихода... День и ночь, работа и досуг, даже интимные отправления — все на людях, под обстрелом десятков чужих взоров.

Для людей с воли — гимназистов, студентов — было ново и непривычно это полусвободное существование. Некоторые юнкера поначалу приходили в уныние и, тоскливо слоняясь по неуютным казематам, раскаивались в выборе карьеры. Я лично, приобщившийся с детства к

военному быту, не так уж тяготился юнкерским режимом. Но и я, вместе с другими, в тихие ночи благоуханной южной весны не раз, бывало, просиживал по целым часам в открытых амбразурах, в томительном созерцании поля, ночи и воли... Бывали и такие «непоседы», что, рискуя непременно изгнанием из училища, спускались на жгутах из простынь через амбразуру вниз, на пустырь. И уходили в поле, на берег Днепра. Бродили там часами и перед рассветом условленным свистом вызывали соумышленников, подымавших их наверх.

А на случай обхода дежурного офицера — на кровати самовольно отлучившегося покоилось отлично сделанное чучело.

По тем же причинам отпускные дни (нормально — раз в неделю) были весьма ценными для нас, а лишение отпуска (за дурное поведение или неудовлетворительный балл) — самым чувствительным наказанием. Поэтому лишенные отпуска или нуждающиеся в нем в неурочный день уходили иногда в город самовольно — тайком. Возвращались обыкновенно через классные комнаты, расположенные в нижнем этаже. Там юнкера готовились по вечерам к очередной репетиции. Случился раз грех и со мной. Вернувшись из самовольной отлучки, стучу осторожно в окно своего отделения. Приятели

услышали. Один становится на пост у стеклянных дверей, другой открывает окно, в которое бросаю штык, фуражку и шинель; потом прыгаю в окно и тотчас же углубляюсь в книгу. Потом уже общими усилиями проносятся в роту компрометирующие «выходные» предметы. Труднее всего с шинелью... Одеваю ее в накидку и с опаской иду в роту. Навстречу, на несчастье, дежурный офицер.

— Вы почему в шинели?

— Что-то знобит, господин капитан.

У капитана во взгляде сомнение. Быть может, и самого когда-то «знобило».

— Вы бы в лазарет пошли...

— Как-нибудь перемогусь, господин капитан.

Пронесло. От исключения из училища спасен.

Возвращались юнкера из легального отпуска — к вечерней переключке. Опоздать хоть на минуту — Боже сохрани. Пьянства, как сколько-нибудь широкого явления, в училище не было. Но бывало, что некоторые юнкера возвращались из города под хмельком, и это обстоятельство вызывало большие осложнения: за пьяное состояние грозило отчисление от училища, за «винный дух» — арест и «третий разряд по поведению», который сильно ограничивал юнкерские права, в особенности при выпуске. Если юнкер не мог, не запинаясь, отрапортовать дежурному офицеру, то приходилось принимать героические меры, сопряженные с

большим риском. Вместо выпившего рапортовал кто-либо из его друзей, конечно, если дежурный офицер не знал его в лицо. Не всегда такая подмена удавалась. Однажды подставной юнкер К. рапортовал капитану Левуцкому:

— Господин капитан, юнкер Р. является...

Но под пристальным взглядом Левуцкого голос его дрогнул, и глаза забегали. Левуцкий понял:

— Приведите ко мне юнкера Р., когда проспится.

Когда утром оба юнкера в волнении и страхе предстали перед Левуцким, капитан обратился к Р.:

— Ну-с, батенька, видно, вы не совсем плохой человек, если из-за вас юнкер К. рискнул своей судьбой накануне выпуска. Губить вас не хочу. Ступайте!

И не доложил по начальству.

Юнкерская психология воспринимала кары за пьянство как нечто суровое и неизбежное. Но преступности «винного духа» не признавала, тем более что были мы в возрасте 18–23 лет, а на юнкерском курсе и под 30; что в армии в то время производилась по военным праздникам выдача казенной «чарки водки», да и училищное начальство вовсе не состояло из пуритан...

Вообще воинская дисциплина в смысле исполнения прямого приказа и чинопочитания

стояла на большой высоте. Но наши юнкерские традиции вносили в нее своеобразные «поправки». Так, обман, вообще и в, частности наносящий кому-либо вред, считался нечестным. Но обманывать учителя на репетиции или экзамене разрешалось. Самовольная отлучка или рукопашный бой с «вольными», с употреблением в дело штыков, где-нибудь в подозрительных предместьях Киева, когда надо было выручать товарищей или «поддержать юнкерскую честь», вообще действия, где проявлены были удасть и отсутствие страха ответственности, встречали полное одобрение в юнкерской среде. И наряду с этим кара за них, вызывая сожаление, почиталась все же правильной... Особенно крепко держалась традиция товарищества, в особенности в одном ее проявлении — «не выдавать». Когда один из моих товарищей побил сильно доносчика и был за это переведен в «третий разряд», не только товарищи, но некоторые начальники старались выручить его из беды, а побитого преследовали.

Ввиду того, что по содержанию нас приравнивали к юнкерскому курсу, жили мы почти на солдатском положении. Ели чрезвычайно скромно, так как наш суточный паек (около 25 копеек) был только на 10 копеек выше солдатского; казенное обмундирование и белье получали также солдатское, в то время плохого качества.

Большинство юнкеров получали из дому небольшую сумму денег (мне присылала мать 5 рублей в месяц). Но были юнкера бездомные или очень бедных семей, которые довольствовались одним казенным жалованием, составлявшим тогда в месяц 22½ (рядовой) или 33½ копейки (ефрейтор). Не на что было им купить табаку, зубную щетку или почтовые марки. Но переносили они свое положение стоически.

Вообще условия жизни в училище отличались суровой простотой и скромностью, являясь хорошей школой для вступления в обер-офицерскую жизнь. Надо заметить, что в начале 90-х годов младший офицер получал в месяц около 50 рублей содержания. И хотя до революции дважды увеличивалось содержание, но стандарт офицерской жизни стоял всегда на низком уровне. И потому, когда во время революции митинговые ораторы большевистского лагеря причисляли к буржуазии, ими ненавидимой и истребляемой, офицерство, это была неправда: русский офицерский корпус в главной массе своей принадлежал к категории трудового интеллигентного пролетариата.

\* \* \*

Строевое образование во всех училищах

стояло на должной высоте. Военная муштра скоро преображала бывших гимназистов, семинаристов, студентов в заправских юнкеров, создавая ту особенную выправку, которая не оставляла многих до смерти и позволяет отличить военного человека под каким угодно платьем.

Проходили мы всю солдатскую службу обстоятельно — первый год в качестве учеников, второй — в роли учителей молодых юнкеров. Строевыми успехами мы гордились, роты соревновались одна с другой. Понятно поэтому, какую горькую обиду испытал я и все мы, когда командующий войсками округа, знаменитый генерал М. Драгомиров, произведя однажды смотр училищу, нашел полный беспорядок в строю и прогнал нас с учебного плаца... Дело в том, что к тому времени по программе пройдены были только взводные ученья, а Драгомиров, не зная, приказал произвести батальонное. Недоразумение, впрочем, скоро разъяснилось. Зато какая радость охватила всех нас, когда в другой раз на маневре генерал горячо поблагодарил нас. Мы приняли участие тогда в производившемся в первый раз в русской армии ученье с боевыми патронами и стрельбой артиллерии через головы пехоты. До этого драгомировского нововведения, из-за опасения несчастного случая, впереди батарей в огромном секторе артиллерийского обстрела пехота не



развертывалась, что искажало совершенно картину действительного боя. Артиллеристы, по-видимому, нервничали, и снаряды падали иногда в опасной близости от нас. В юнкерских рядах не произошло ни малейшего замешательства, и ученье вообще прошло блестяще.

Во время классных занятий всегда тишина и порядок. Только на уроке французского языка юнкера позволяли себе всякие вольности. Военные предметы и подсобные к ним проходились основательно, но слишком теоретически. Позднее, во время «военного ренессанса» (после японской войны) программы изменились в лучшую сторону. Гражданские предметы давали знание, но не повышали общее образование, которое считалось законченным в среднем учебном заведении. Из общих предметов проходили Закон Божий, два иностранных языка, химию, механику, аналитику и русскую литературу. Характерно, что из-за боязни, вероятно, занесения «вредных идей», только древнюю...

Если три четверти юнкерской энергии и труда уходило на преодоление науки, то так же, как и в моем реальном училище, четверть шла на проказы. «Шпаргалки», в особенности для химических формул и для баллистики, писались на манжетах или на листках, выскакивавших из рукава на резинке... На репетиции по Закону Божию

выходили прямо с учебником... Для письменного экзамена по русскому языку производилась заранее разверстка билетов, каждый юнкер заготавливал одно сочинение, они раскладывались в порядке номеров по партам. И во время экзамена юнкер, взяв билет, садился на то место, где лежала его шпаргалка... И т. д.

Я учился хорошо, и редко приходилось прибегать к фокусам. Вот разве только на репетициях по французскому языку... Мой однополчанин Нестеренко, хорошо владевший языком, обыкновенно сдавал репетицию за троих, дважды переодеваясь. В мундире с чужого плеча, то с подвязанной щекой, то с леденцом во рту, чтобы изменить голос — он имел вид глубоко комичный. Француз никого не помнит в лицо. Нестеренко переводит с французского умышленно не бойко — словом, на 8–9 баллов.<sup>8</sup> Но вот однажды, сдавая репетицию за меня, он забылся и прочел французский текст с таким хорошим акцентом, что француз насторожился и замолчал. А Нестеренко ждет подсказа и, не дождавшись, переводит, да переводит.

Француз, разобрав в чем дело, торжественно поднялся, взял под руки нас обоих и повел к

---

<sup>8</sup> По 12-балльной системе.

инспектору классов.

— Ваше превосходительство, не губите... И весь класс речитативом запел:

— Не-гу-би-те!..

Француз довел нас только до дверей и отпустил с миром.

Быт необыкновенно живуч. В воспоминаниях моего однокашника, окончившего училище через восемь лет, я нашел такое же точно описание юнкерских проказ, с небольшими только «техническими усовершенствованиями»...

\* \* \*

Так или иначе, мы кончали училище с достаточными специальными знаниями для предстоящей службы. Но ни училищная программа, ни преподаватели, ни начальство не задавалось целью расширить кругозор воспитанников, ответить на их духовные запросы. Русская жизнь тогда бурлила, но все так называемые «проклятые вопросы», вся «политика» — понятие, под которое подводилась вся область государственоведения и социальных знаний, проходили мимо нас.

Надо сказать, что ни в одной стране университетская молодежь не принимала такого бурного и деятельного участия в политической жизни страны, как в России. Партийные кружки,

участие в революционных организациях, студенческие забастовки по мотивам политическим, сходки и «резолюции», «хождение в народ», который, увы, так мало знала молодежь («Новь» Тургенева и др.) — все это заполняло студенческую жизнь. В одном из отчетов Петербургского Технологического института приведены были такие данные об участии студентов в политической жизни: состоявших в партийных организациях — 80 %, беспартийных — 20 %. Причем «левых» — 71 %, «правых» — 5 %...

Подпольная литература того времени, составлявшая во многих случаях духовную пищу передовой молодежи, углубляла отрыв студенчества от национальной почвы, смущала разум, обозляла сердца. «Отсталость» в этом отношении юнкеров была одной из причин отчуждения их от студенчества, в большинстве смотревшего на военную среду, как на нечто чуждое и враждебное.

Военная школа уберегла своих питомцев от духовной немочи и от незрелого политиканства. Но сама, как я уже говорил, не помогла им разобраться в сонме вопросов, всколыхнувших русскую жизнь. Этот недочет должно было восполнить самообразование. Многие восполнили, но большинство не удосужилось.

В нашем училище начальники приказывали,

следили за выполнением приказа и карали за его нарушение. И только. Вне служебных часов у нас не было общения с училищными офицерами. Но тем не менее вся окружающая атмосфера, пропитанная бессловесным напоминанием о долге, строго установленный распорядок жизни, постоянный труд, дисциплина, традиции юнкерские — не только ведь школьнические, но и разумно-воспитательные — все это в известной степени искупало недочеты школы и создавало военный уклад и военную психологию, сохраняя живучесть и стойкость не только в мире, но и на войне, в дни великих потрясений, великих искушений.

Военный уклад перемалывал все те разнородные социальные, имущественные, духовные элементы, которые проходили через военную школу. Студент Петербургского университета Н. Лепешинский — брат известного социал-демократа, сделавшего впоследствии карьеру у большевиков, был исключен из университета за революционную деятельность, без права поступления в какое-либо учебное заведение, словом — с «волчьим билетом». Лепешинский сжег свои документы и держал экзамен за среднее учебное заведение экстерном, в качестве получившего якобы домашнее образование. Получив свидетельство, поступил в Московское

училище.

После нескольких месяцев пребывания в училище, где Лепешинский учился и вел себя отлично, вызвали его к инспектору классов, капитану Лобачевскому.

— Это вы?

Лепешинский побледнел: на столе лежал проскрипционный список, периодически рассылаемый министерством народного просвещения, и в нем — подчеркнутая красным карандашом его фамилия...

— Так точно, господин капитан.

Лобачевский посмотрел ему пристально в глаза и сказал:

— Ступайте.

И больше ни слова.

Велика должна была быть уверенность Лобачевского в «иммунитете» военной школы. Лепешинский вышел вместе со мной во 2-ю Артиллерийскую бригаду. Кроме большого скептицизма, ничто не обличало его прошлое. Служил усердно, в японскую войну дрался доблестно и был сражен неприятельской шимозой.

Я остановился ни этих вопросах потому, что наш военный уклад имел два огромных, исторического значения последствия.

Недостаточная осведомленность в области политических течений и особенно социальных

вопросов русского офицерства сказала уже в дни первой революции и перехода страны к представительному строю. А в годы второй революции большинство офицерства оказалось безоружным и беспомощным перед безудержной революционной пропагандой, спасовав даже перед солдатской полуинтеллигенцией, натасканной в революционном подполье.

И второе последствие, о котором человек социалистического лагеря,<sup>9</sup> вряд ли склонный идеализировать военный быт, говорит:

«Интеллигент презирал спорт так же, как и труд, и не мог защитить себя от физического оскорбления. Ненавидя войну и казарму, как школу войны, он стремился обойти или сократить единственную для себя возможность приобрести физическую квалификацию — на военной службе. Лишь офицерство получило иную школу, и потому лишь оно одно оказалось способным вооруженной рукой защищать свой национальный идеал в эпоху гражданской войны».

---

<sup>9</sup> Статья профессора Г. Федотова «Революция идет».

Без этих двух предпосылок невозможно понять ход русской революции и гражданской войны 1917–1920 годов.

## Выпуск в офицеры

После окончания двухлетнего курса, перед выходом в последний лагерный сбор, устраивались «похороны» с подобающей торжественностью. Хоронили «науки» (учебники) или юнкера, оканчивающего курс по «третьему разряду» — конечно, с его полного согласия. За «гробом» (снятая дверь) шествовали «родственники», а впереди «духовенство», одетое в ризы из одеял и простынь. «Духовенство» возглашало поминание, хор пел — впоследствии, когда заведены были училищные оркестры — чередуясь с похоронными маршами. Несли зажженные свечи и кадила, дымящиеся дешевым табаком. И процессия в чинном порядке следовала по всем казематам до тех пор, пока неожиданное появление дежурного офицера не обращало в бегство всю компанию, включая и «покойника».

Никто из нас не влагал в эти «похороны» кощунственного смысла. Огромное большинство участников были люди верующие, смотревшие на традиционный «обряд», как на шалость, но не кощунство. Подобно тому, как не было кощунства в



русском народном эпосе, представлявшем в песнях (южные «колядки») небесные силы в сугубо земной обстановке и фамильярном виде.

Юнкера отлично разбирались в характере своих начальников, подмечали их слабости, наделяли меткими прозвищами, поддевали в песне, слегка вуалируя личности. Про одних с похвалой, про других зло и обличительно. Певали, бывало, под сурдинку в казематах, а теперь перед выпуском — даже всей ротой, в строю, возвращаясь с ученья. Начальство не реагировало.

Перед выходом в последний лагерь происходил важный в юнкерской жизни акт — разбор вакансий. В списке по старшинству в голове помещались фельдфебеля, потом училищные унтер-офицеры, наконец юнкера по старшинству баллов.

Еще в начале первого курса со мной случился неприятный казус. Я относился к юнкерам «юнкерского курса» без всякой предвзятости и имел среди них не мало друзей. Совершенно неожиданно друзья эти стали избегать меня, а юнкерское начальство (первый год все оно было юнкерского курса) стало преследовать меня наказаниями и своей властью, что в отношении других не практиковалось, и докладом дежурному офицеру. За что — мы не могли понять — ни я, ни мои товарищи. Наконец, один из моих приятелей

(юнкерского курса) по секрету объяснил мне, что юнкерское начальство нашей роты (1-й) сговорилось наказать меня за оскорбление, нанесенное всему юнкерскому курсу: я будто бы во время вечерней подготовки в классах, когда в наше отделение зашел один из юнкеров «юнкерских курсов», сказал:

— Терпеть не могу, когда к нам заходят эти шморгонцы...<sup>10</sup>

Юнкер этот обознался: такой инцидент действительно имел место, но сказал эту фразу не я, а юнкер 2-й роты Силин. Силин, очень порядочный человек — пошел тотчас же в 1-ю роту и заявил фельдфебелю, что произнес эту фразу он. После этого преследования сразу прекратились, отношения с приятелями возобновились, но мой кондюит был безнадежно погублен: до конца года я оставался во 2-м разряде по поведению и, несмотря на хорошие баллы, не был произведен в училищные унтер-офицеры.

Прошел второй год — без взысканий и с выпускным баллом 10,4. Меня произвели, наконец, и, таким образом, хорошая вакансия была обеспечена.

На юнкерской бирже вакансии котировались в

---

<sup>10</sup> Оскорбительная кличка.

такой последовательности: гвардия (1 вакансия), полевая артиллерия (5–6 вакансий), инженерные войска (5–6 вакансий), остальные пехотные. Наш фельдфебель взял единственную вакансию в гвардию. В позднейших выпусках их было больше. Но гвардейские вакансии не общедоступны. Хотя такого закона не существовало, но по традиции в гвардию допускались лишь потомственные дворяне. На этой почве выходили большие недоразумения, когда не предупрежденные о таких порядках юнкера — не дворянского сословия брали гвардейские вакансии. Выходили иногда громкие истории, доходившие до государя, но и он не мог или не хотел нарушить традицию: молодые офицеры, претерпев моральный урон, удалялись из гвардейских полков и получали другие назначения.

Я взял вакансию во 2-ю Артиллерийскую бригаду, квартировавшую в городе Беле Седлецкой губернии, которая впоследствии, по Рижскому договору 1920-го года, перешла к Польше.

Помню, какое волнение и некоторую растерянность вызывал в нас акт разбора вакансий. Ведь помимо объективных условий и личных вкусов, было нечто провиденциальное в этом выборе тропинки на нашем жизненном пути, на переломе судьбы. Этот выбор во многом предопределял уклад личной жизни, служебные успехи и неудачи — и жизнь, и смерть. Для

помещенных в конце списка остаются лишь «штабы» с громкими историческими наименованиями — так назывались казармы в открытом поле, вдали от города, кавказские «урочища» или стоянки в отчаянной сибирской глуши. В некоторых из них вне ограды полкового кладбища было и «кладбище самоубийц», на котором похоронены были молоденькие офицеры, не справившиеся с тоской и примитивностью захолустной жизни.

Судьба разбросала нас по свету, по разным станам. Среди моих однокашников Киевского училища, выпуска 1892 года, только двое выдвинулись на военном поприще.

Военно-училищный курс окончил тогда, выйдя подпоручиком в артиллерию, Павел Сытин. Впоследствии он прошел курс Академии Генерального Штаба и был возвращен в строй. В конце первой мировой войны в чине генерала командовал артиллерийской бригадой. С началом революции неудержимой демагогией и «революционностью» ловил свою фортуна в кровавом безвременье. И преуспел: поступив одним из первых на службу к большевикам, занял вскоре, но ненадолго, пост главнокомандующего Южным красным фронтом.

Это он вел красные полчища зимою 1918 года против Дона и моей Добровольческой армии...

Юнкерский курс окончил, выйдя подпрапорщиком в пехоту, Сильвестр Станкевич. Свой первый Георгиевский крест он получил в китайскую кампанию 1900 года, командуя ротой сибирских стрелков, за громкое дело — взятия им форта Таку. В первой мировой войне он был командиром полка, потом бригады в 4-й Стрелковой «Железной дивизии», которой я командовал, участвуя доблестно во всех ее славных боях; в конце 1916 года принял от меня «Железную дивизию». После крушения армии, имея возможность занять высокий пост в нарождавшейся польской армии, как поляк по происхождению, он не пожелал оставить своей второй родины: дрался искусно и мужественно против большевиков во главе Добровольческой дивизии в Донецком бассейне против войск... Павла Сытина. Там же и умер.

Трагическое раздвоение старой русской армии: два пути, две совести.

\* \* \*

Близится день производства. Мы чувствуем себя центром мироздания. Предстоящее событие так важно, так резко ломает всю жизнь, что ожидание его заслоняет собою все остальные интересы. Мы знаем, что в Петербурге

производство обставлено весьма торжественно, происходит блестящий парад в Красном Селе в Высочайшем присутствии, причем сам Государь поздравляет производимых. Как будет у нас — неизвестно: в Киеве, за время его существования, это первый офицерский выпуск.

4 августа вдруг разносится по лагерю весть, что в Петербурге производство уже состоялось, несколько наших юнкеров получили от родных поздравительные телеграммы... Волнение и горечь: про нас забыли... Действительно, вышло какое-то недоразумение, и только к вечеру другого дня мы услышали звонкий голос дежурного юнкера:

— Господам офицерам строиться на передней линейке!

Мы летим стремглав, на ходу застегивая пояса. Подходит начальник училища, читает телеграмму, поздравляет нас с производством и несколькими задушевными словами напутствует нас в новую жизнь.

И все.

Мы несколько смущены и даже как будто растеряны: такое необычайное событие и так просто, буднично все произошло... Но досадный налет скоро расплывается под напором радостного чувства, прущего из всех пор нашего преображенного существа. Спешно одеваемся в офицерскую форму и летим в город. К родным,

знакомым, а то и просто в город — в шумную толпу, в гудящую улицу, чтобы окунуться с головой в полузапретную доселе жизнь, несущую — так крепко верилось — много света, радости, веселья.

Вечером во всех увеселительных заведениях Киева дым стоит коромыслом. Мы кочевали гурьбой из одного места в другое, принося с собой буйное веселье. С нами — большинство училищных офицеров. Льется вино, затеваются песни, сыплются воспоминания... В голове — хмельной туман, а в сердце — такой переизбыток чувства, что взял бы вот в охапку весь мир и расцеловал!

Потом люди, столики, эстрада — все сливается в одно многогранное, многоцветное пятно и уплывает.

В старой России были две даты, когда бесшабашное хмельное веселье пользовалось в глазах общества и охранителей порядка признанием и иммунитетом. Это день производства в офицеры и еще ежегодный университетский «праздник просвещения» — «Татьянин день». Когда, забыв и годы, и седины, и большую печень, старые профессора и бывшие универсанты всех возрастов и положений, сливаясь со студенческой молодежью, кочевали из одного ресторана в другой, пили без конца, целовались, пели «Gaudeamus» и от

избытка чувств и возлияний клялись в «верности заветам», не стесняясь никакими запретами.

\* \* \*

Через два дня поезда уносили нас из Киева во все концы России — в 28-дневный отпуск, после которого для нас начиналась новая жизнь.

## **Часть вторая**

### **В артиллерийской бригаде**

Осенью 1892 года я прибыл к месту службы во 2-ю полевую артиллерийскую бригаду — в город Белу Седлецкой губернии.

Это была типичная стоянка для большинства войсковых частей, заброшенных в захолустья Варшавского, Виленского, отчасти Киевского военных округов, где протекала иногда добрая половина жизни служилых людей. Быт нашей бригады и жизнь городка переплетались так тесно, что о последней приходится сказать несколько слов.

Население Белы не превышало 8 тысяч. Из них тысяч 5 евреев, остальные поляки и немного русских — главным образом служилый элемент.



Евреи держали в своих руках всю городскую торговлю, они же были поставщиками, подрядчиками, мелкими комиссионерами («факторы»). Без «фактора» нельзя было ступить ни шагу. Они облегчали нам хозяйственное бремя жизни, доставали все — откуда угодно и что угодно; через них можно было обзаводиться обстановкой и одеваться в долгосрочный кредит, перехватить денег под вексель на покрытие нехватки в офицерском бюджете. Ибо бюджет был очень скромный: я, например, получал содержание 51 рубль в месяц.

Возле нас проходила жизнь местечкового еврейства — внешне открыто, по существу же — совершенно замкнутая и нам чуждая. Там создавались свои обособленные взаимоотношения, свое обложение, так же исправно взимаемое, как государственным фиском, свои негласные нотариальные функции, свой суд и расправа, чинимые кагалом и почитаемыми цадиками и раввинами; своя система религиозного и экономического бойкота.

Среди бельских евреев был только один интеллигент — доктор. Прочие, не исключая местного «миллионера» Пижица, держались крепко «старого закона» и обычаев. Мужчины носили длинные «лапсердаки», женщины — уродливые парики, а своих детей, избегая правительственной

начальной школы, отдавали в свои средневековые «хедэры» — школы, допускавшие власть, но не дававшие никаких прав по образованию. Редкая молодежь, проходившая курс в гимназиях, не оседала в городе, рассеиваясь в поисках более широких горизонтов.

То специфическое отношение офицерства к местечковым евреям, которое имело еще место в шестидесятых, семидесятых годах и выражалось когда анекдотом, когда и дебошами, отошло уже в область преданий. Буянили еще изредка неуравновешенные натуры, но выходки их оканчивались негласно и прозаически: вознаграждением потерпевшим и командирской карой.

Связанный сотнями нитей с еврейским населением Белы в области хозяйственной, русский служилый элемент во всех прочих отношениях жил совершенно обособленно от него.

Однажды на почве этих отношений Бела потрясена была небывалым событием.

Немолодой уже подполковник нашей бригады Ш. влюбился в красивую и бедную еврейскую девушку. Взял ее к себе в дом и дал ей приличное домашнее образование. Так как они никогда не показывались вместе и внешние приличия были соблюдены, начальство не вмешивалось; молчала и еврейская община. Но когда прошел слух, что

девушка готовится принять лютеранство, мирная еврейская Бела пришла в необычайное волнение. Евреи грозили не на шутку убить ее. В отсутствие Ш. большая толпа их ворвалась однажды в его квартиру, но девушки там не нашли. В другой раз евреи в большом числе подкараулили Ш. на окраине города и напали на него. О том, что там произошло, обе стороны молчали, можно было только догадываться... Мы были уверены, что, по офицерской традиции, несумевший защитить себя от оскорбления Ш. будет уволен в отставку. Но произведенное по распоряжению командующего войсками округа дознание окончилось для подполковника благополучно: он был переведен, в другую бригаду и на перепутье, обойдя формальности и всякие препятствия, успел жениться.

Польское общество жило замкнуто и сторонилось русских. С мужскими представителями его мы встречались на нейтральной почве — в городском клубе или в ресторане, играли в карты и вместе выпивали, иногда вступали с ними в дружбу. Но домами не знакомились. Польские дамы были более нетерпимыми, чем их мужья, и эту нетерпимость могло побороть только увлечение...

Наше офицерство в отношении польского элемента держало себя весьма тактично, и

каких-либо столкновений на национальной почве у нас не бывало.

Русская интеллигенция Белы была немногочисленна и состояла исключительно из служилого элемента — военного и гражданского. В этом кругу сосредотачивались все наши внешние интересы: там «бывали», ссорились и мирились, дружили и расходились, ухаживали и женились.

Из года в год всё то же, всё то же. Одни и те же разговоры и шутки. Лишь два-три дома, где можно было не только повеселиться, но и поговорить на серьезные темы. Ни один лектор, ни одна порядочная труппа не забредала в нашу глушь. Словом, серенькая жизнь, маленькие интересы — «чеховские будни». Только деловые и бодрые, без уездных «гамлетов», без нытья и надрыва. Потому, вероятно, они не засасывали и вспоминаются теперь с доброй улыбкой.

В такой обстановке прошло с перерывами в общей сложности 5 лет моей жизни.

Мои два товарища, одновременно со мной вышедшие в бригаду, сделали визиты всем в городе, как тогда остряли, «у кого только был звонок у подъезда». И всюду бывали. Я же предпочитал общество своих молодых товарищей. Мы собирались поочередно друг у друга, по вечерам играли в винт, умеренно пили и много пели. Во время своих собраний молодежь

разрешала попутно и все «мировые вопросы», весьма, впрочем, элементарно. Государственный строй был для офицерства фактом predetermined, не вызывающим ни сомнений, ни разнотолков. «За веру, царя и отечество». Отечество воспринималось горячо, как весь сложившийся комплекс бытия страны и народа — без анализа, без достаточного знания его жизни. Офицерство не проявляло особенного любопытства к общественным и народным движениям и относилось с предубеждением не только к левой, но и к либеральной общественности. Левая отвечала враждебностью, либеральная — большим или меньшим отчуждением.

Когда я вышел в бригаду, ею правил генерал Сафонов — один из вымиравших типов старого времени — слишком добрый, слабый и несведущий, чтобы играть руководящую роль в бригадной жизни. Но то сердечное отношение, которое установилось между офицерством и бригадным, искупало его бездеятельность, заставляя всех работать за совесть, с бескорыстным желанием не подвести бригаду и добрейшего старика. Не малое влияние на бригаду оказывал и тот боевой дух, который царил в Варшавском округе в период командования им героя русско-турецкой войны, генерала Гурко. И та любовь к своему специальному делу, которая была

традицией артиллеристов и заслужила русской артиллерии высокое признание наших врагов и в японскую кампанию, и в 1-ю мировую войну, и даже, невзирая на умерщвление духа большевиками, во 2-ю мировую...

Наконец, батареями у нас командовали две крупные личности — Гомолицкий и Амосов, по которым равнялось все и вся в бригаде. Их батареи были лучшими в артиллерийском сборе. Их любили, как лихих командиров и, одновременно, как товарищей-собутыльников, вносящих смысл в работу и веселие в пиры. Особенно молодежь, находившая у них и совет, и заступничество.

Словом, в бригаде кипела работа, выделявшая ее среди других частей артиллерийского сбора.

Но на втором году моей службы генерал Сафонов умер. Доброго старика искренно пожалели. Никто, однако, не думал, что с его смертью так резко изменится судьба бригады.

Приехал новый командир, генерал Л.

Этот человек с первых же шагов употребил все усилия, чтобы восстановить против себя всех, кого судьба привела в подчинение ему. Человек грубый по природе, Л. после производства в генералы стал еще более груб и невежлив со всеми — военными и штатскими. А к обер-офицерам относился так презрительно, что никому из нас не подавал руки. Он совершенно не интересовался

нашим бытом и службою, в батарее просто не заходил, кроме дней бригадных церемоний. При этом раз — на втором году командования — он заблудился среди казарменного расположения, заставив прождать около часа всю бригаду, собранную в конном строю.

Он замкнулся совершенно в канцелярию, откуда сыпались предписания, запросы — по форме резкие и ругательные, по содержанию — обличавшие в Л. не только отжившие взгляды, но и незнание им артиллерийского дела. Сыпались ни за что на офицеров и взыскания, даже аресты на гауптвахте, чего раньше в бригаде не бывало. Словом, сверху — грубость и произвол, снизу озлобление и апатия.

И все в бригаде перевернулось.

Амосов ушел, получив бригаду, у Гомолицкого, которого Л. стал преследовать, опустили руки. Все, что было честного, дельного, на ком держалась бригада, замкнулось в себя. Началось явное разложение. Пьянство и азартный картеж, дразги и ссоры стали явлением обычным. Многие забыли дорогу в казармы. Трагическим предостережением прозвучали три выстрела, унесшие жизни молодых наших офицеров. Эти самоубийства имели, конечно, подкладку субъективную, но, несомненно, на них повлияла обстановка выбитой из колеи бригадной жизни.

Наконец, нависшие над бригадой тучи разразились громом, который разбудил заснувшее начальство.

В бригаде появился новый батарейный командир, подполковник З. — темная и грязная личность. Похождения его были таковы, что многие наши офицеры — факт в военном быту небывалый — не отдавали чести и не подавали руки штаб-офицеру своей части. Летом в лагерном собрании З. нанес тяжкое оскорбление всей бригаде. Тогда обер-офицеры решили собраться вместе и обсудить создавшееся положение.

Небольшими группами и поодиночке стали стекаться на берег реки Буга, на котором стоял наш лагерь, в глухое место. Я был тогда уже в Академии в Петербурге. Мне рассказывали потом участники об испытанном ими чувстве смущения в необычайной для военных людей роли «заговорщиков». На собрании установили преступления З., и старший из присутствовавших, капитан Нечаев взял на себя большую ответственность — подать рапорт по команде от лица всех обер-офицеров.<sup>11</sup> Рапорт дошел до начальника артиллерии корпуса, который положил

---

<sup>11</sup> Всякое коллективное выступление считалось по военным законам преступлением.



резолуцию о немедленном увольнении в запас подполковника З.

Но вскоре отношение к нему начальства почему-то изменилось и мы в официальной газете прочли о переводе З. в другую бригаду. Тогда обер-офицеры, собравшись вновь, составили коллективный рапорт, снабженный 28-ю подписями, и направили его главе всей артиллерии, великому князю Михаилу Николаевичу, прося «дать удовлетворение их воинским и нравственным чувствам, глубоко и тяжко поруганным».

Гроза разразилась. Из Петербурга назначено было расследование, в результате которого начальник артиллерии корпуса и генерал Л. вскоре ушли в отставку; офицерам, подписавшим незаконный коллективный рапорт, объявлен был выговор, а З. был выгнан со службы.

С приездом нового командира, генерала Завацкого, как будет видно ниже, жизнь бригады скоро вошла в нормальную колею.

\* \* \*

Вследствие ряда причин и в русской армии существовала некоторая рознь между родами оружия — явление старое и свойственное всем армиям. Общими чертами ее были: гвардия глядела свысока на армию; кавалерия — на другие роды

оружия; полевая артиллерия косилась на кавалерию и конную артиллерию и снисходила к пехоте; конная артиллерия сторонилась полевой и жалась к кавалерии; наконец, пехота глядела исподлобья на всех прочих и считала себя обойденной вниманием и власти, и общества. Надо сказать, однако, что рознь эта была неглубока и существовала лишь в мирное время. С началом войны — так было и в японскую и в Первую мировую — она исчезала совершенно.

Наша бригада жила отлично с пехотой своей дивизии, но не входила в сношения ни с конной артиллерией, ни с конницей своего корпуса. Однажды отношения эти замутились, оставив за собой кровавый след и тяжелое воспоминание у всех, стоявших близко к событию.

В Брест-Литовске, в ресторане, произошло столкновение между нашим штабс-капитаном Славинским и двумя конно-артиллерийскими поручиками — Квашниным-Самариным и другим — на почве «неуважительных отзывов об их родах оружия». Славинский — человек храбрый и отличный стрелок — имел гражданское мужество не желать дуэли и принести извинение. Готовы были помириться и его противники. Но командир конной батареи, подполковник Церпицкий, потребовал от обоих офицеров послать вызов Славинскому. Славинский, с разрешения

бригадного суда чести,<sup>12</sup> принял вызов.

Условия дуэли установлены были сравнительно не тяжелые: на пистолетах, 25 шагов дистанции, по одному выстрелу — по команде.

Накануне вечером в нашем лагере, возле адъютантского барака собралось много офицеров, взволнованно обсуждавших событие; характерно, что пришли и из чужих бригад. Особенно возмущало всех то обстоятельство, что Церпицкий «для защиты чести своей батареи» выставил двух против одного... Наша молодежь всю ночь не спала. Не спали и солдаты той батареи, в которой служил Славинский. То же, говорят, происходило и в конной батарее.

Место для дуэли назначено было возле лагеря, на опушке леса. На рассвете, в четыре часа мимо бригадного лагеря проскакала группа конных артиллеристов, потом все смолкло. Через некоторое время показался скачущий по направлению к конной батарее фейерверкер; он был послан, как оказалось, за лазаретной линейкой...

Славинский тяжело ранил  
Квашнина-Самарина в живот. От помощи

---

<sup>12</sup> По закону вопрос о допустимости дуэли в крупных частях, где были суды чести, разрешался ими. В малых частях — командиром.

бригадного врача и от нашей лазаретной линейки конно-артиллеристы отказались... Квашнин-Самарин, отвезенный в госпиталь, дня через два в тяжких мучениях умер.

Результаты первой дуэли произвели на всех присутствовавших тяжелое впечатление. Нервничали секунданты. Славинский мрачно курил одну папиросу за другой. Через своих секундантов он опять предложил второму дуэлянту принести ему извинение. Тот отказался. Через четверть часа — вторая дуэль, окончившаяся благополучно. Славинский стрелял в воздух.

Назначенное по делу следствие признало поведение Славинского джентльменским, а на подполковника Церпицкого были наложены начальством кары.

Был на такой же почве и другой случай — без кровавого исхода, но имевший последствия исторические.

Однажды, когда бригада шла походом через Седлец, где квартировал Нарвский гусарский полк, между нашим подпоручиком Катанским — человеком порядочным и хорошо образованным, но буйного нрава — и гусарским корнетом поляком Карницким, исключительно на почве корпоративной розни, возникло столкновение: Катанский оскорбил Карницкого. Секунданты заседали всю ночь. Пришлось и мне, как «старшему

подпоручику», потратить много времени и уговоров, чтобы предотвратить кровавую, быть может, развязку... Только на рассвете, когда трубачи играли в сонном городе «Поход» и бригаде пора было двигаться дальше, дело закончилось примирением.

Закончилось, но не совсем... В Нарвском гусарском полку сочли, что примирение не соответствовало нанесенному Карницкому оскорблению. Возник вопрос о возможности для него оставаться в полку... По этому поводу к нам в Белу приехала делегация суда чести Нарвского полка, для выяснения дела. Переговорив между собою, мы с товарищами условились представить инцидент в возможно благоприятном для Карницкого свете. В результате он был оправдан судом чести и оставлен на службе.

Мистические нити опутывают людей и события...

Через четверть века судьба столкнула меня с бывшим корнетом в непредвиденных ролях: я — главнокомандующий и правитель — Юга России, он — генерал Карницкий — посланец нового Польского государства, прибывший ко мне в Таганрог в 1919 году для разрешения вопроса о кооперации моих и польских армий на противобольшевистском фронте.

Вспомнил? Или забыл? Не знаю: о прошлом

мы не говорили. Но Каркицкий в донесениях своему правительству употребил все усилия, чтобы представить в самом темном и ложном свете белые русские армии, нашу политику и наше отношение к возрождавшейся Польше. И тем внес свою лепту в предательство Вооруженных сил Юга России Пилсудским, заключившим тогда тайно от меня и союзных западных держав соглашение с большевиками.<sup>13</sup>

Невольно приходит в голову мысль: как сложились бы обстоятельства, если бы я тогда в Беле не старался реабилитировать честь корнета Карницкого?!

\* \* \*

Киевское училище, выпуская нескольких своих воспитанников в артиллерию, не дало нам соответствующей подготовки. Нас, шесть юнкеров, посылали в соседнюю с училищным лагерем батарею для артиллерийского обучения ровным счетом 6 раз. Поэтому в первый год службы пришлось много работать, чтобы войти в курс дела. Положение облегчалось тем, что вначале мне поручили не артиллерийскую специальность, а

---

<sup>13</sup> Об этом — будет впереди.

батареиную школу. К началу первого лагерного сбора я имел уже достаточную подготовку, а потом был даже назначен учителем бригадной учебной команды (подготовка унтер-офицеров — «сержантов»).

При ген. Л. мне пришлось прослужить около года. Непосредственно столкновений с ним я не имел, да и разговаривать с ним почти не приходилось. Наша молодая компания в своем кругу бурно и резко осуждала эксцессы Л. и выражала свое отношение к нему единственно возможным способом: демонстративным отказом от его приглашений на пасхальные розговены или на какой-либо семейный праздник.

Так или иначе, первые два года офицерской жизни прошли весело и беззаботно. На третий год я и три моих сверстника «отрешились от мира» и сели за науки — для подготовки к экзамену в Академию Генерального штаба. С тех пор для меня лично мир замкнулся в тесных рамках батареи и учебников. Надо было повторить весь курс военных наук военного училища и, кроме того, изучить по расширенной программе ряд общеобразовательных предметов: языки, математику, историю, географию...

Нигде больше не бывал. Избегал и пирушек у товарищей. Начиналось настоящее подвижничество, академическая страда в годы,

когда жизнь только еще раскрывалась и манила своими соблазнами.

## **В академии Генерального штаба**

Мытарства поступающих в Академию Генерального штаба начинались с проверочных экзаменов при окружных штабах. Просеивание этих контингентов выражалось такими приблизительно цифрами: держало экзамен при округах 1 500 офицеров; на экзамен в Академию допускалось 400–500; поступало 140–150; на третий курс (последний) переходило 100; из них причислялось к генеральному штабу 50. То есть после отсеивания оставалось всего 3,3 %.

Выдержав благополучно конкурсный экзамен, осенью 1895 года я поступил в Академию.

Академическое обучение продолжалось три года. Первые два года — слушание лекций, третий год — самостоятельные работы в различных областях военного дела — защита трех диссертаций, достававшихся по жребию. Теоретический курс был очень велик и кроме большого числа военных предметов перегружен и общеобразовательными, один перечень которых производит внушительное впечатление: языки, история с основами международного права, славистика, государственное право, геология,



высшая геодезия, астрономия и сферическая геометрия. Этот курс, по соображениям государственной экономии, втиснутый в двухгодичный срок, был едва посилен для обыкновенных способностей человеческих.

Академия в мое время, то есть в конце девяностых годов, переживала кризис.

От 1889 до 1899 года во главе Академии стоял генерал Леер, пользовавшийся заслуженной мировой известностью в области стратегии и философии войны. Его учение о вечных неизменных основах военного искусства, одинаково присущих эпохам Цезаря, Ганнибала, Наполеона и современной, лежало в основе всего академического образования и проводилось последовательно и педантично со всех военных кафедр. Но постепенно и незаметно неподвижность мудрых догм из области идей переходила в сферу практического их воплощения. Старился учитель — Лееру было тогда около 80 лет, старились и приемы военного искусства, насаждаемые Академией, отставали от жизни.

Вооруженные народы сменили регулярные армии, и это обстоятельство предугазывало резкие перемены в будущей тактике масс. Бурно врывалась в старые схемы новая, не испытанная еще данная — скорострельная артиллерия... Давала трещины идея современного учения о крепостной обороне

страны... Вне академических стен военная печать в горячих спорах искала истины.... Но все это движение находило недостаточный отклик в Академии, застывшей в строгом и важном покое.

Мы изучали военную историю с древнейших времен, но не было у нас курса по последней русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Последнее обстоятельство интересно как показатель тогдашних нравов военных верхов. Как это ни странно, русская военная наука около 30 лет после окончания этой войны не имела документальной ее истории, хотя в недрах Главного штаба и существовала много лет соответственная историческая комиссия. Причины такой странной медлительности обнаружились наконец. В 1897 году, по желанию государя, поручено было лектору Академии, подполковнику Мартынову, по материалам комиссии, прочесть стратегический очерк кампании в присутствии старейшего генералитета — с целью выяснения: «возможно ли появление в печати истории войны при жизни видных ее участников».

Слушателям Академии разрешено было присутствовать на этих сообщениях, состоявшихся в одной из наших аудиторий. На меня произвели они большое впечатление ярким изображением доблести войск, талантов некоторых полководцев и вместе с тем плохого общего ведения войны, хотя и

победоносной. Должно быть, сильно задета была высокосановная часть аудитории (присутствовал и бывший главнокомандующий на Кавказском театре войны вел. кн. Михаил Николаевич), так как перед одним из докладов Мартынов обратился к присутствовавшим с такими словами:

— Мне сообщили, что некоторые из участников минувшей кампании выражают крайнее неудовлетворение по поводу моих сообщений. Я покорнейше прошу этих лиц высказаться. Каждое слово свое я готов подтвердить документами, зачастую собственноручными, тех лиц, которые выражали претензию.

Не отозвался никто. Но, видимо, вопрос, поставленный государем, разрешился отрицательно, так как выпуск истории был опять отложен. Издана она была только в 1905 году.

Говоря об отрицательных сторонах Академии, я должен, однако, сказать по совести, что вынес все же из стен ее чувство искренней признательности к нашей *alma mater*, невзирая на все ее недочеты, на все мои мытарства, о которых речь впереди. Загромождая нередко курсы несущественным и ненужным, отставая подчас от жизни в прикладном искусстве, она все же расширяла неизмеримо кругозор наш, давала метод, критерий к познанию военного дела, вооружала весьма серьезно тех, кто хотел продолжать работать и учиться в жизни. Ибо

главный учитель все-таки жизнь.

Трижды менялся взгляд на Академию — то как на специальную школу комплектования Генерального штаба, то, одновременно, как на военный университет. Из Академии стали выпускать вдвое больше офицеров, чем требовалось для Генерального штаба, причем не причисленные к нему возвращались в свои части «для поднятия военного образования в армии».

Из «военного университета», однако, ничего не вышло. Для непривилегированного офицерства иначе, как через узкие ворота «генерального штаба», выйти на широкую дорогу военной карьеры в мирное время было почти невозможно. Достаточно сказать, что ко времени Первой мировой войны высшие командные должности занимало подавляющее число лиц, вышедших из Генерального штаба: 25 % полковых командиров, 68–77 % начальников пехотных и кавалерийских дивизий, 62 % корпусных командиров... А академисты второй категории, не попавшие в генеральный штаб, быть может, благодаря только нехватке какой-нибудь маленькой дроби в выпускном балле, возвращались в строй с подавленной психикой, с печатью неудачника в глазах строевых офицеров и с совершенно туманными перспективами будущего.

Это обстоятельство, недостаточность